ДОСТОЕВСКІЙ.

(очеркъ жизни и дъятельности).

К. СЛУЧЕВСКАГО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Тинографія брат. Пантелеевихъ. Казанскал, 33. 1889.

ДОСТОЕВСКІЙ.

(очеркъ жизни и дъятельности).

К. СЛУЧЕВСКАГО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія брат. Пантелеевыхъ. Казанская, 33. 1889. Дозволено цензурою. Спб. 13 Февраля 1889 г.

«Только обносившіяся пден очень по-

Ө. Достоевскій.

«На дняхъя читалъ «Мертвый Домъ» и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина.»

Графъ Л. Н. Толстой.

«Достоевскій чувствоваль мысли». *H. Страхов*э.

Въ очертании личности и таланта Федора Михайловича Достоевскаго (1821 † 1881), перешедшаго, на шестьдесятъ первомъ году жизни, въ очень и очень далекую исторію, есть, несомнънно, нъчто «героическое», какъ это было замъчено однимъ изъ лучшихъ друзей покойнаго Н. Страховымъ. Мысль эта чрезвычайно върна, хотя и брошена вскользь; можетъ быть было бы правильнъе сказать не героическое, а «богатырское», и этому имъются нъсколько весьма въскихъ, неоспоримыхъ причинъ.

Велики и внушительны лики умершихъ борцовъ двѣнадцатаго года—но героическимъ, по преимуществу, является только Кульневъ; еще виднѣются между нами недавніе предводители нашихъ войскъ за Балканы—но героическимъ перешелъ въ народъ одинъ только Скобелевъ. Крупны, очень крупны по размърамъ своимъ, однолътки нашей литературы, люди сороковыхъ годовъ—Гончаровъ, графъ Л. Толстой, Островскій, Тургеневъ, Писемскій, Григоровичъ, но именно богатырскимъ пошибомъ отличается только Достоевскій и, можетъ быть, но въ меньшей степени, графъ Л. Толстой.

Богатырь, какъ таковой, сложился въ сознаніи народа на нѣсколькихъ простыхъ, основныхъ, неизмѣнныхъ, очень схожихъ для всѣхъ богатырей міра, особенностяхъ. Богатырь обя-

зательно служить всю свою жизнь одной какой либо идев; за-рождаясь на почве народной, будучи вполне «кряжевымь», а не «наноснымь» человекомь, онь выходить въ путь ранымъ рано, еще не зная именно куда направиться; по странной, не-объяснимой, но постоянной случайности, больше чутьемь, чёмъ расчетомъ, беретъ направленіе върное; онъ совершаетъ свое дъло цълымъ рядомъ отдъльныхъ подвиговъ; движимый безконечнымъ, часто заносчивымъ самолюбіемъ, проистекающимъ изъ увъренности въ «правотъ» своего дъда и «необходимости» совершить его, онъ дѣлаетъ оплошности, и самъ обусловливаетъ свои не-удачи; фантастическое всегда окружаетъ богатыря, онъ постоянно движется въ чудесномъ, бѣсовскомъ, что не мѣшаетъ ему, однако, дѣтски-набожно вѣрить въ силу крестнаго знаменія; богатырь, всегда честный до глупости, тамъ гдѣ онъ проходитъ, непремънно оставляетъ за собою широкою полосою безконечные ряды искреннъйшихъ благословеній и неистовыхъ проклятій, и если онъ изнемогаетъ, порою, въ борьбъ, то только для того, чтобы, поднявшись, идти вновь по тому же направленію, опять-таки, отдъльными порывами великой души и силою мысли, обладающей всъми особенностями механической и физической силы, даже не властной сама въ себъ.

Всёхъ этихъ перечисленныхъ особенностей богатырства, если не считать другихъ, нётъ вовсе въ сотоварищахъ Достоевскаго по оружію, въ названныхъ выше представителяхъ нашей литературы. Всё они безспорно совершили свое, всё они, каждый самъ по себё, замёчательные люди, всё они боролись, опять-таки каждый по своему, ошибались, изнемогали, шли опять, но ихъвело впередъ, прежде всего художественное творчество, бывшее само по себё пёлью, тогда какъ для Достоевскаго художественное творчество являщиесь всего только средствомъ пёйствитель. само по себѣ пѣлью, тогда кажъ для Достоевскаго художественное творчество являлось всегда только средствомъ дѣйствительной, настоящей, богатырской борьбы. Если бы Достоевскій оставилъ въ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ только то что онъ оставилъ, то онъ, какъ художникъ, уступилъ бы первенство Л. Толстому, Гончарову и Тургеневу, взятая же въ совокупности дѣятельность Достоевскаго совершенно единственная, исключительная и не только въ нашей, но и во всѣхъ другихъ литературахъ, онъ стоитъ особнякомъ. «Онъ», какъ совершенно справедливо замѣчаетъ Н. Страховъ, «безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ».

Очень вѣрно замѣчено было О. Миллеромъ, что «судьба, за-

хотъвъ быть Достоевскому мачихой, на самомъ дълъ воспитала его какъ строгая, но попечительная мать». Отъ этого, конечно, покойному было не легче, но мы-то пользуемся, и сами того не замъчая, какъ вкусно и обильно, плодами этого жесткаго, часто жестокаго попечительства. Стоитъ, для уясненія этой мысли, припомнить только нъкоторыя, основныя черты жизни Достоевскаго, т. е., тъ главныя краски которыя накладывала она на него, и давала ему для передачи словомъ и дъломъ, чтобы убъдиться въ правотъ сказаннаго нами.

Началась, зародилась эта исключительная, особническая жизнь въ Москвѣ; это уже краска, и не изъ послѣднихъ. Москва—въ этомъ одномъ цѣлая палитра красокъ; жизнь на Божедомкѣ — а кто не знаетъ чѣмъ были въ страшные годы Іоанновской Руси—кроткіе милостивцы божедомы и божедомки; жизнь въ больницѣ для бѣдныхъ, гдѣ отецъ покойнаго служилъ врачемъ,—въ этомъ второе странное сопоставленіе съ основными чертами будущей дѣятельности Достоевскаго; божедомы и больница для бѣдныхъ — это цѣлыя гнѣзда страждущихъ умовъ и сердецъ. Затѣмъ: лѣтнія поѣздки въ Троицкую лавру, Марьина Роща, няня Алена Фроловна, дурочка Аграфена, дѣтскія игры въ дикихъ, въ Робинзона, страхъ предъ темнотою, и, поверхъ всего этого — честная, работящая, любящая семья, истинно русская, набожная, въ которой тѣлеснаго наказанія не существовало и въ которой готовился къ жизни, за одно съ однимъ изъ братьевъ, почти однолѣткомъ, этотъ Богомъ намѣченный мальчикъ «весь огонь», какъ говорили его почтенные родители.

Тамъ-же, на первыхъ порахъ, въ Москвѣ, какой-то не оставившій намъ своего имени учитель русскаго языка, съумѣлъ

Тамъ-же, на первыхъ порахъ, въ Москвъ, какой-то не оставившій намъ своего имени учитель русскаго языка, съумълъ вызвать въ братьяхъ Достоевскихъ любовь къ своему предмету, къ литературъ, беззавътное, искреннъйшее поклоненіе Пушкину и направлялъ, въроятно, постоянное чтеніе мальчиками Вальтеръ-Скота, Квентина Дорварда, Ваверлея. Тамъ-же и тогдаже, въ самой ранней юности, видъли братья Достоевскіе, въ шиллеровскихъ «Разбойникахъ», безсмертнаго Мочалова и слышали его огненную декламацію.

Но, Москва была кратковременна; слёдовалъ перейздъ въ Петербургъ и поступленіе въ инженерное училище. Въ этомъ опять замётна благодать судьбы: не въ какое либо другое военное училище, а именно въ лучшее по духу изъ училищъ, поступаетъ Достоевскій; онъ самъ, уже подъ конецъ своей жизни, перечислялъ виднёйшихъ птенцовъ его, товарищей былаго времени,

хорошо знакомыхъ по именамъ всёмъ и каждому: Тотлебена, Кауфмана, Радецкаго, Леера, Сёченова, Григоровича, Трутовскаго. Если-бы инженерное училище забивало людей — такое перечисленіе достойныхъ именъ было-бы немыслимо и не напрасно вспоминается въ исторіи училища о томъ, что, еще задолго до поступленія въ него Достоевскаго, по настоянію Великаго Князя Николая Павловича, впослёдствіи могучаго Императора и подъего отвётственностью, опредёленъ былъ въ училищъ преподавателемъ профессоръ Арсеньевъ, удаленный изъ университета происками печальной памяти Рунича и Магницкаго. Это можетъ служить характернымъ признакомъ направленія даннаго училищу служить характернымъ признакомъ направленія даннаго училищу и то «проклятіе школь», которое заявляеть одинь изъ героевъ «Записокъ изъ подполья» послано было Достоевскимъ конечно «Записокъ изъ подполья» послано было Достоевскимъ конечно не по адресу училища, о которомъ самъ онъ любилъ вспоминать. Но уже здёсь, въ училищё, на зорё жизни, мальчикъюноша, «весь—огонь», ставшій одинокимъ, вёчно удаляющійся отъ товарищей, вёчно что-то пишущій, въ особенности по ночамъ, находится въ такомъ настроеніи духа, что сообщаетъ брату своему о томъ что ему кажется будто: «міръ нашъ—чистилище духовъ небесныхъ, отуманенныхъ грёшною мыслью» и даже помышляетъ о самоубійствё! Толчекъ данный юношескимъ стремънціять дисскать данный информация денерательных временных временных восскать остремънціять денерательных временных востремънціять данных восскать остремънціять данных восскать обърка в помышляеть о самоубійствё! Толчекъ данный юношескимъ стремънціять данных восскать обърка в помышляеть о самоубійстве. помышляетъ о самоуогистви: голчекъ данный юношескимъ стремленіямъ тѣмъ неизвъстнымъ учителемъ русскаго языка, толчекъ который обусловилъ раннее поклоненіе Пушкину и упорное чтеніе, продолжаетъ, однако, дѣйствовать и въ училищѣ, только В. Скота смѣняютъ Гомеръ, Шиллеръ, Ж. Зандъ, Бальзакъ и любовь Достоевскаго къ поэзіи становится «страстною». Едва-ли справедливо мнѣніе Н. Булича, что именно инженерное училище, съ его, яко-бы, розгами и другими истязаніями, навѣяло на Постоерскато наруши в държиния картини, нясь даже семейния Достоевскаго первыя мрачныя картины, что, даже, семейныя воспоминанія мальчика-юноши не представляють ничего отраднаго, что на всей его позднівшей діятельности отразился недостатокъ серьезнаго образованія и что образованіе это было «жалко и поверхностно».

«жалко и поверхностно».

На 21 году жизни Достоевскій произведенъ въ инженеръпрапорщики; цвётъ лица его уже болёзненный, «земляной», слышались сухой кашель и хрипота. Слёдуютъ кратковременныя увлеченія: рестораномъ Лерха, билліардною игрою, знаменитымъ Листомъ, пёніемъ Рубини и, рядомъ съ этимъ, опять-таки въ качествё благодётельной школы для будущей дёятельности, сожительство съ врачемъ для бёдныхъ, изученіе бёдныхъ людей, пролетаріевъ столицы, знакомство съ какимъ-то мужскимъ прижи-

валкою Келеромъ и его разсказы о темныхъ личностяхъ, поддонкахъ столицы, о людяхъ, послужившихъ позже прототипами многихъ дъйствующихъ лицъ въ романахъ и повъстяхъ Достоевскаго. Благодаря безконечной безшабашности въ денежныхъ расчетахъ, имъетъ, наконецъ, мъсто первое знакомство Достоевскаго съ ростовщикомъ! «Хлестаковъ», пишетъ Достоевскій въ 1844 г. своему брату, «соглашался идти въ тюрьму только благороднымъ образомъ. Ну, а если у меня штановъ не будетъ, будетъ-ли это благороднымъ образомъ?» Неизвъстно гдъ теперь тогдашніе первые труды Достоевскаго за это смутное, неопредъленное время его жизни, драмы «Марія Стюартъ» и «Борисъ Годуновъ, гдъ переводъ «Донъ-Карлоса»? можетъ быть Достоевскій самъ забылъ о тъхъ путяхъ, по которымъ направилъ рукописи, потому что онъ уже увлекся другимъ дъломъ, потому что исподволь готовилась и созръвала первая самостоятельная работа его, поглощавшая и затмъвавшая его для самого себя — готовились «Бъдные люди»

«Бѣдные люди»
Первый шагъ Достоевскаго въ литературу, сдѣланный «Бѣдными людьми», чрезвычайно характерный, красочный шагъ. Долго готовились «Бѣдные люди», можетъ быть еще въ училищѣ. Наконецъ, они готовы, но авторъ не хочетъ отдавать ихъ въ журналъ, потому что это значило-бы, пишетъ онъ брату, «идти подъ ярмо не только главнаго maitre d'hôtel'а, но даже всѣхъ чумичекъ и поваренковъ, гнѣздящихся въ гнѣздахъ, откуда распространяется просвѣщеніе». «Если», пишетъ онъ дальше, «мнѣ не удастся напечатать ихъ самому, я можетъ быть повѣшусь». Тѣмъ не менѣе приходится, однако, отдать работу въ «Отечественныя Записки» и ждать рѣшенія редакціи; если работы не примутъ «такъ можетъ быть въ Неву!» И вотъ на этомъ-то темномъ состояніи его духа, мрачнаго невѣденія и крайней нужды, неожиданно полжетъ быть въ Неву!» И вотъ на этомъ-то темномъ состоянии его духа, мрачнаго невъденія и крайней нужды, неожиданно подстраивается судьбою, замъчательная, единственная сцена. Въ четыре часа утра вбъгаютъ къ нему, къ ожидающему и обуреваемому мыслью о самоубійствъ, вбъгаютъ, со слезами на глазахъ, Некрасовъ и Григоровичъ въщая побъду и скоро вслъдъ затъмъ, при свиданіи съ Бълинскимъ, раздаются въскія слова всесильнаго тогда критика: «да вы понимаете-ли сами, что вы это написали! вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать!» «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни!» говорилъ позже Достоевскій. Литературное имя пріобрътено сразу, какъ-бы по манію волшебнаго жезла, и генералы отъ литературы, ему, неизвъстному юношъ, низко поклонились. Развъ это не краски, развъ не всерѣшающій толчекъ?

ноношѣ, низко поклонились. Развѣ это не краски, развѣ не всерѣшающій толчекъ?

Но воть и другая, слѣдующая вслѣдь за этимъ, не менѣе самостоятельная картина молодой жизни. «Быть тебѣ подъ красной шапкой!» говариваль, бывало, сыну-огню покойный отецъ. Въ этомъ заключалось предсказаніе: слѣдовало участіе Достоевскаго въ обществѣ Петрашевскаго и ссылка въ Сибирь, на каторгу. Позже, когда ссылка эта отошла въ давно-прошедшее, покойный, въ отпоръ людямъ, желавшимъ доказывать ему что эта ссылка была грубымъ насиліемъ и несправедливостью, говорилъ: «соціалисты произошли отъ петрашевцевъ. Петрашевцы посѣяли много сѣмянъ» и на вопросъ о томъ: заслужена - ли была петрашевцами ссылка, отвѣчалъ: «справедливое дѣло была наша ссылка. Насъ-бы осудилъ народъ».

23 Апрѣля 1849 года послѣдовалъ арестъ; затѣмъ восемъ мѣсяцевъ крѣпости и четыре года каторжныхъ работъ. Опять: сколько красокъ, какая страшная попечительность матери судьбы? призналъ это и самъ Достоевскій когда утверждаль, что «если бы не эта катастрофа — я сошелъ-бы съ ума». Ссылка, кромѣ того, дала ему драгоцѣнѣйшее въ жизни — у него «явилась идея». Сила этой «идеи» была такъ непосредственно велика и ясна, что уже на Семеновской площади, на эшафотѣ, ввиду куполовъ Введенской церкви, готовясь умереть, Достоевскій сообщалъ стоявшему подлѣ него сотоварищу казни Момбелли о планѣ какойто повѣсти. «Идея» жизни стала ему такъ ясна, что онъ, отъ-ѣзжая въ каторгу и прощаясь съ А. Милюковымъ, тогда - же завѣрялъ его, что «и въ каторгѣ не звѣри, а люди, можетъ еще лучше меня, можетъ достойнѣе меня... Въ эти мѣсяцы я много пережилъ... а тамъ впереди то что увижу и переживу будетъ о чемъ писатъ». По пути къ мѣсту ссылки въ Тобольскъ, жены

лучше меня, можетъ достойнъе меня... Въ эти мъсяцы я много пережилъ... а тамъ впереди то что увижу и переживу будетъ о чемъ писать». По пути къ мъсту ссылки, въ Тобольскъ, жены декабристовъ подарили ему Евангеліе, пролежавшее у него подъ подушкою во все время пребыванія въ каторгъ! это тоже краска и не изъ послъднихъ, въ особенности для Достоевскаго. Сибирь послужила временемъ сосредоточенія; въ каторгъ пріялъ Достоевскій самаго себя. Толочь алебастръ, вертъть точильное колесо, сгребать снъгъ, носить кирпичи, разбирать барку на Иртышъ, дневать и ночевать съ каторжниками и постичь, какъ и почему, идя къ причастію, всъ они, эти убійцы и изверги, всъ, единымъ духомъ, вслъдъ за словами «но яко разбойника мя пріими», гремя кандалами, склонялись передъ открытою дверью алтаря — это было истиннымъ даромъ Господнимъ и

указующей рукой всей будущей дъягельности Достоевскаго. Неправду говорить Некрасовъ, изобразивъ въ своихъ «Несчастныхъ» подъ именемъ «крота» Достоевскаго; онъ представилъ его «учителемъ» каторжниковъ, тогда какъ, по собственнымъ словамъ Достоевскаго, онъ былъ ихъ «ученикомъ»... «Я до такой степени родня всему русскому, писалъ онъ А. Майкову въ 1856 году, что даже каторжные не испугали меня, это былъ русскій народъ, мои собратья по несчастью». Безконечно много правды въ этихъ словахъ и если, въ 1854 году, десять мѣсяцевъ спустя послѣ выхода изъ каторги, Достоевскій писалъ брату что «тѣ четыре года считаю я за время, въ которое я былъ похороненъ живой и закрытъ въ гробу», то позже взглядъ его на эти четыре года считаю по сибирь была Достоевскому—«мила».

Ласкою судьбы было, конечно, и то что Достоевскій возвратился къ дъягельности какъ разъ ко времени освобожденія крестьянъ. Объявленіе объ изданіи «Времени», написанное имъ, появилось въ самый годъ освобожденія, затѣмъ, съ быстротою изумительною слѣдовали одни за другими: студенческія исторіи (1861), пожары (1862), польское повстаніе (1863) и все то мрачное и постыдное, что потянулось вслѣдъ за ними. Кто не поминтъ этихъ тижкихъ, тяжкихъ дней государственной и общественной жизни нашей, дней развивавшихся съ прямою, неумолимою, молніеобразною послѣдовательностью изъ либеральнато фразерства въ рядъ покушеній, до взрыва во дворцѣ, до 1-го Марта. Какъ разъ съ наступленіемъ этого тяжсало времени, началь дъйствовать Достоевскій и краски жизни сгущались передъ нимъ и роились, образовывая подвижныя, свѣтовыя явленія, какъ въ вертящихся кругахъ и звѣздахъ волшебныхъ фонарей. Въ либеральной печати, заигрывавшей тогда съ революціей и Польшею, въ воинствующей литературѣ, началось тоже съ казней всѣхъ тѣхъ кто сколько нибудь, и почему бы то ни было, не подходилъ къ «программѣ дъйствія». Н. Страховъ, одинъ изъ казней всѣхъ тѣхъ кто сколько нибудь, и почему бы то ни было, не подходилъ къ «програмнъ дъйствія». Н. Страховъ, одинъ изъ казней всѣхъ тѣхъ кто сколько нибудь, и почему

шился на глазахъ Достоевскаго и нашелъ въ немъ, благодаря необычайному таланту и счастливой подготовкъ предшествовавшими обстоятельствами жизни, самаго върнаго истолкователя и прорицателя.

прорицателя.

Едва-ли върно то, что Тургеневъ былъ первымъ подмътившимъ въ «Отцахъ и Дътяхъ», появившихся въ 1862 году, существенныя черты назръвавшаго тогда нигилизма; онъ прінскалъ
только имя, кличку, слово, а самая суть была ярко обрисована
во «Времени» Достоевскаго значительно раньше, такъ какъ уже
въ февральской книжкъ 1861 года, начата съ нигилизмомъ открытая борьба статьею Достоевскаго «—бовъ и вопросъ объ
некусствъ».

крытая борьба статьею Достоевскаго «—бовъ и вопросъ объ искусствъ».

Литературная борьба эта пріобрѣла-бы, несомнѣнно, огромное значеніе, такъ какъ оба лагеря опредѣлились и столли во всеоружіи одинъ противъ другого, если-бы не совершенно не ожиданное насильственное прекращеніе редактированнаго Достоевскимъ «Времени» и, начатой имъ вслѣдъ за этимъ погибшей собственною слабостью—«Эпохи». «Время» просуществовало съ января 1861 по 1863 и вслѣдствіе одного изъ любопытнѣйшахъ «крупнѣйшихъ недоразумѣній», когда либо проявившихся въ исторіи нашей цензуры (принятіе статьи «Роковой вопросъ» направленной противъ поляковъ, за статью, яко-бы, сочувствовавщую имъ, ошибка повторенная и «Московскими вѣдомостями»), закрыто. Успѣхъ «Времени» быль очень большой; маски противниковъ были сброшены и «Время» успѣло уже пріобрѣсти ненависть «Современника» и почти всей зараженной либерализмомъ петербургской печати, какъ вдругъ совершилось его исчезновеніе. Разрѣшенная Достоевскому, послѣ великихъ усилій, въ 1864 году «Эпоха»— не удалась и тогда-то обусловилась для покойнаго тяжкая необходимость уѣхать заграницу: пришлось удалиться отъ долговъ. Съ 1867 по 1871 годъ, жилъ Достоевскій, тогда уже женатый вторымъ бракомъ, заграницею. Не свои долги, а долги брата по изданіямъ выплачиваль онъ, и какъ выплачивалъ? въ 1867 г., какіе нибудь 125 р. «рѣшительно спасаютъ» его и нарождающуюся семью, а въ 1869 г. приходится продать сюртукъ и Богъ вѣсть съ какимъ трудомъ «достать 2 талера». Не слѣдуетъ забывать, что эти классическіе 2 талера приходилось доставать автору уже отпечатаннаго тогда «Преступленія и наказанія»? Въ довершеніе тягости положенія по добровольной уплатѣ, чужаго, братняго долга, надъ Достоевскимъ тяготѣетъ, повидимому, полицейскій надзоръ,

такъ какъ въ одномъ изъ тогдашнихъ писемъ онъ вынужденъ сказать: «каково-же вынести человъку чистому, патріоту, предавшемуся имъ до измъны своимъ прежнимъ убъжденіямъ, обожающему Государя, каково вынести подозръніе въ какихъ нибудь сношеніяхъ съ какими нибудь полячишками или съ «Колоколомъ».

но это были уже послѣдніе годы долготерпѣнія. Второй бракъ Достоевскаго принесшій съ собою семью, денежную бережливость и порядочность хозяйства, а затѣмъ вершительное значеніе «Преступленія и наказанія», сдѣлали свое. Четыре года пребыванія заграницею, временно удаливъ Достоевскаго изъ Россіи, положили между нимъ, художникомъ, и тѣмъ, что происходило въ Россіи, какъ объектомъ творчества, то разстояніе, которое совершенно необходимо для созерцанія крупнаго предмета и дали художнику-мыслителю то сосредоточеніе, которое должно лежать въ основѣ всякаго великаго творчества. Въ этомъ смыслѣ и тутъ, слѣдовательно, судьба сослужила покойному тяжкую, неоцѣненную службу. Достоевскій возвратился въ Россію въ іюлѣ 1871 г. и тутъ начало втораго, важнѣйшаго, славнѣйшаго періода его дѣятельности; вторая ссылка его— заграничная жизнь—кончилась.

жизнь—кончилась.

Въ двадцатилѣтіе съ 1861 по 1881 годъ, Достоевскій неуклонно стоялъ лицомъ къ лицу со своими многочисленными бывшими тогда въ силѣ, какъ въ правительствѣ такъ и въ литературѣ, противниками. Въ теченіи этого страшнаго двадцатилѣтія кипучая, безустанная литературная дѣятельность его, недовольствуясь для изображенія того, что онъ мыслилъ и чувствовалъ, на встрѣчу развивавшимся съ быстротою изумительною событіямъ, мѣрною, эпическою поступью повѣстей и романовъ, нашла себѣ, помимо ихъ, другой, уже испытанный, болѣе подходящій, болѣе быстрый способъ выраженія— въ редактированіи журналовъ. «Журналъ—великое дѣло» писалъ онъ еще въ 1861 году; въ концѣ семидесятыхъ доказывалъ онъ это на дѣлѣ вторично. Всѣхъ опытовъ редактированія было у Достоевскаго—четыре. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, какъ сказано—«Время» и «Эпоха», въ 1873 г. — «Гражданинъ» князя Мещерскаго, съ 1876 года «Дневникъ Писателя». Послѣдній нумеръ «Дневника» совпалъ со смертію автора, такъ что типографскія чернила подсыхали одновременно съ тѣмъ какъ остывалъ Достоевскій. Въ свободные отъ редактированія годы этого двадцатилѣтія, мощно, почти безъ роздыха, выдвинулись одни за

другими: «Преступленіе и наказаніе», «Идіотъ», «Бѣсы», «Подростокъ» и, наконецъ, одновременно съ «Дневникомъ Писателя» прозвучало долгимъ стономъ и теплою молитвою послъднее слово Достоевскаго — «Братья Карамазовы».

Всъ перечисленныя писательскія и редакторскія работы, не смотря на все ихъ разнообразіе, помъчены у Достоевскаго однимъ пошибомъ, служили одной идеъ и вызывали, съ одной стороны, проклятія и скрежетъ зубовный, съ другой— неисчислимыя благословенія и благодарности. Сквозь тъ и другія личность Достоевскаго, становившаяся, мало по малу, великою силою, проростала все четче и ярче и обусловила, наконецъ, то что сложилось неожиданно для всъхъ на пушкинскомъ праздникъ, въ Москвъ, въ 1880 году.

Постоевскій отправился въ Москву на открытів паматимиз

Москвъ, въ 1880 году.

Достоевскій отправился въ Москву на открытіе памятника Пушкину въ качествъ депутата отъ Славянскаго общества. Все что имълось тогда въ наличности литературно-учено-художественной интеллигенціи, собралось въ нашу первопрестольную, чтобы присутствовать при открытіи памятника великому поэту, собирателю русской мысли, русскаго творчества, еще недавно подвергавшемуся самому площадному посмъянію. Тутъ, движимые разными чувствами, имълись представители всъхъ партій — тъхъ, что смъялись и тъхъ, что благоговъли; откликнулись на торжество и славянскія земли; былъ кое-кто и изъ Европы. Заранъе приготовили свои ръчи И. Аксаковъ и И. Тургеневъ, ъздившій для этого даже въ деревню. Въ общественномъ сознаніи наступала тогда важная минута перелома и всъ шашки перепутались. Съ одной стороны «Московскія Въдомости», которымъ покланялись еще такъ недавно, сдълались предметомъ острой и несправедливой вражды, съ другой—либерализмъ, дорымъ покланялись еще такъ недавно, сдълались предметомъ острой и несправедливой вражды, съ другой — либерализмъ, дошедшій до крайнихъ предѣловъ бѣснованія, причинившій столько бѣдъ, съеживавшійся передъ ясными уликами своего безсилія и вызывавшій въ обществѣ крайне опасное и несправедливое недовѣріе къ литературѣ вообще — все еще не сдавался. Еще глухо орудовала крамола и оставалось довольно времени до траталіи породійство гедін цареубійства.

Вотъ въ эти-то смутные дни полной разшатанности общественной мысли, сильнъйшаго недовърія къ себъ всъхъ и каждаго, при совершенной безпомощности духа, народился пушкинскій праздникъ и никто ръшительно не могъ знать и не предвидълъ, что именно будетъ онъ значить и есть ли достаточныя причины для того, чтобы ему быть? здъсь простое число мъсяца

и года, хронологія, годовщина, безтѣлесное воспоминаніе—явились могучими двигателями жизни и, такъ называемая, случайность сдѣлалась причиною одного изъ самыхъ типическихъ воплощеній судьбы.

ность сдёдалась причиною одного изъ самыхъ типическихъ воплощеній судьбы.

Передъ лицемъ представителей всёхъ оттёнковъ мысли Достоевскій своею огненною рёчью неожиданно далъ этому празднику душу, объясниль смысль и указаль, такъ сказать, не одинъ, а множество якорей, на которыхъ разшатанный и обуреваемый духъ русскаго человёка, можетъ укрёпиться и успокоиться. Действительнымъ откровеніемъ явилась эта рёчь Достоевскаго и сдёлала изъ праздника настоящее торжество, что и было тогда-же почувствовано всёми. И. Аксаковъ, едва только смолкъ голосъ Достоевскаго, сказалъ немедленно: «я не могу говорить послё рёчи Федора Михайловича; все что я написалътолько слабая варіація на нёкоторыя темы этой геніальной рёчи», и назваль ея тутъ-же «событіемъ»; болёе осторожный П. Анненковъ, подчиняясь одушевленію тысячной толпы, замётиль: «вотъ что значитъ геніальная характеристика! она разомъ порёшила дёло»! Что въ этой рёчи имёлось на липо гораздо болёе чёмъ «характеристика» сознавала и толпа, вынудивь Достоевскаго снова взойти на кафедру и увёнчавъ его вёнкомъ, не для него приготовленнымъ. Послё долгаго царства отрицанія и сомнёній историческая рёчь Достоевскаго явилась первою, и въ тё мрачные дни, единственною положительною, богатырскою силою, явилась, въ устахъ вёчеваго человёка, прочною почвою родной земли, вмёсто болотистыхъ хлябей фантастики и далеко не безкровнаго служенія чуждымъ намъ порядкамъ и идеаламъ. Упоминаніемъ о пушкинской рёчи можно-бы было кончить съ перечисленіемъ наиболёв выдающихся чертъ жизнеописанія покойнаго, потому что тё нёсколько мёсяцевъ что оставалось ему жить, были потрачены имъ почти исключительно на объясненіе своей рёчи, въ отпоръ ея лжетолкователямъ. Начавъ свое служеніе литературё въ Москвё, съ горячей, страстной любви къ Пушкину, Достоевскій и завершиль его, послё долгаго скитанія, въ Москвё-же и на памяти того-же Пушкина. Но для болёе полнаго уяспенія справедливости мысли о томъ, что не мачихою, а понечительною матерью была Достоевскому жизнь,

танія, въ москвъ-же и на памяти того-же пушкина. по для болѣе полнаго уясненія справедливости мысли о томъ, что не мачихою, а попечительною матерью была Достоевскому жизнь, слѣдуетъ сказать еще немногое, одно на предметъ его семейной жизни, другое на счетъ его болѣзни.

Объ основномъ бытѣ родительской семьи, въ раннемъ его дѣтствѣ, семьи, давшей такія хорошія основы и такія яркія

краски на палитру Достоевскаго уже упомянуто. Прямымъ продолженіемъ, такъ сказать, завѣтомъ отошедшихъ отца и матери, живою преемственностью этихъ хорошихъ, первыхъ дней жизни, была глубочайшая дружба Федора Михайловича съ умершимъ ранѣе его братомъ Михаиломъ, дружба свѣтившая обоимъ долгіе, долгіе годы. Эта дружба, сама по себѣ, служила богатѣйшимъ матеріаломъ, цѣлою музыкою для множества искреннѣйшихъ, лучезарнѣйшихъ страницъ произведеній Достоевскаго. Несомнѣнно, что изъ всѣхъ положительныхъ мотивовъ души человъческой, въ противовъсъ широко развѣтвляющимся въ работахъ Достоевскаго мотивамъ отрицательнымъ, именно чувство дружбы, ея сладкое, бальзамическое дѣйствіе, проступаетъ гораздо чаще и настоятельнѣе другихъ и что въ тѣхъ именно страницахъ, которыя трогаютъ читателя глубже другихъ, грѣютъ его и услащаютъ— добрымъ Самаритяниномъ является чувство дружбы и служенія другому человѣку до полнаго самозабвенія и творческаго самоотрицанія. Въ этихъ страницахъ свѣтится добрая память покойнаго брата.

служенія другому человъку до полнаго самозаовенія и творческаго самоотрицанія. Въ этихъ страницахъ свътится добрая память покойнаго брата.

Много дала Достоевскому судьба и при устройствъ собственнаго очага. Хотя Федоръ Михайловичъ былъ къ женскому обществу вообще равнодушенъ, «имълъ къ нему даже какую то антипатію» и только изръдка, какъ это значится въ одномъ изъ писемъ его изъ заграницы въ 1862 году, способенъ былъ «чего добраго приласкать молодую венеціанку въ гондолъ», но тъмъ не менъе онъ былъ женатъ дважды. Первая жена его, вдова Исаева, умерла въ 1864 году; «она любила меня безпредъльно», пишетъ Достоевскій, «я любилъ ее тоже безъ мъры, но мы не жили съ ней счастливо». На второй женъ, А. Г. Сниткиной, женился онъ въ 1867 году. На сколько покойный не былъ счастливъ съ первою, на сколько жизнь съ нею, при бездътности и глубокой нуждъ, благодаря, прежде всего, сказочноневъроятной безпорядочности самого Федора Михайловича въ веденіи денежныхъ дълъ, являлась тяжелъйшимъ періодомъ его существованія, на столько вторая жена внесла съ собою въ небогатый рабочій домъ его—счастья, расчетливости, и сдълала его не бездътнымъ. Только вслъдъ за ея появленіемъ улыбнулась Достоевскому судьба и онъ вступилъ во второй, лучшій, но и послъдній періодъ своего существованія. Двъ яркія параллели двухъ браковъ, равно какъ дружба къ брату, тоже дали свое на широкую палитру покойнаго.

Наконецъ, перечисляя выразительнъйшіе мотивы изъ кото-

рыхъ сложилась жизнь Достоевскаго, одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ, если не важнѣйшее, и, во всякомъ случаѣ, далеко не вътой малой мѣрѣ какъ это обыкновенно признается, должна занять извѣстная болѣзнь его — падучая. Самъ Достоевскій думалъ, и былъ увѣренъ въ томъ, что припадки ея открылись у него только въ Сибири. Воздѣйствіе ее на нравственное бытіе покойнаго, на работу мощнаго, остраго ума, должно было сказываться необыкновенно сильно. При вѣчномъ, безустанномъ наростаніи и движеніи мыслей его, иногда неожиданные, иногда предчувствуемые припадки болѣзни, приключавшіеся въ былые годы приблизительно разъ въ мѣсяцъ, а иногда и по два раза въ недѣлю, а въ послѣднее время непревышавшіе 7—8 разъ въ годъ, должны были рвать эти мысли въ клочки и придавать имъ, по окончаніи припадка, совсѣмъ особое освѣщеніе. Несомнѣню, что именно въ этой болѣзни слѣдуетъ искать основной ноты множества мотивовъ его творчества, ихъ, отчасти, лунатическаго освѣщенія, непропорціональности фигуръ, и если можно такъ выразиться, той скомканности дѣйствія которая обусловливаетъ то, что, иногда въ одинъ день, скучивается въ его романахъ столько событій, что легко въ нихъ запутаться. Съ этой-же точки зрѣнія очень справедливымъ оказывается замѣчаніе А. Милюкова будто: «созданные Достоевскимъ образы и положенія представляются намъ не въ чисто объективномъ, можно сказать «бѣломъ свѣтѣ», какъ лица Гончарова или Тургенева, а въ какомъ-то особенномъ освѣщеніи, точно сквозь цвѣтное стекло». Но если болѣзнь обусловливала эти особенности за то она-же, какъ противуположеніе жизни, вызывала выскохупожественные контрасты въ творчествѣ, которые отмѣ.

цвѣтное стекло». Но если болѣзнь обусловливала эти особенности за то она-же, какъ противуположеніе жизни, вызывала высокохудожественные контрасты въ творчествѣ, которые отмѣчаютъ очень многія главы и страницы печатью безсмертія.

Въ «Идіотѣ» имѣется подробное описаніе ощущеній болѣзни. Въ эпилептическомъ состояніи его (Мышкина), говоритъ авторъ: «была одна степень, почти передъ самымъ припадкомъ, когда вдругъ среди грусти, душевнаго мрака, томленія, мгновеніями какъ бы воспламенялся мозгъ и съ необыкновеннымъ порывомъ напрягались разомъ всѣ его жизненныя силы. Ощущенія жизни, самосознанія, почти удесятерялись въ эти моменты, продолжавшіеся какъ молнія. Умъ, сердце, озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ: всѣ волненія, всѣ сомнѣнія его, всѣ безпокойства, какъбы умиротворялись разомъ, разрѣшались въ какое-то высшее спокойствіе, полное ясной гармонической радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти

проблески были только предчувствіемъ той окончательной секунды (никогда не болъе секунды) съ которой начинается самый припадокъ. Эта секунда была, конечно, невыносима... Мгновенія эти», продолжаетъ Достоевскій, «были только необыкновеннымъ усиленіемъ самосознанія, если бы надо выразить это состояніе однимъ словомъ—самосознанія и самоощущенія самаго непосредственнаго... Минута ощущенія, припоминаемая и раз сматриваемая уже въ здравомъ состояніи, оказывается въ высшей степени—гармоніей, красотой, даетъ неслыханное и неожиданное дотолъ чувство полноты, мъры, примиренія и восторженнаго молитвеннаго сліянія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни въз зтотъ моментъ, становится понятнымъ необычайное ни... Въ этотъ моментъ становится понятнымъ необычайное

слово о томъ, что времени больше не будетъ!»

Одинъ изъ важнѣйшихъ и добросовѣстнъйшихъ изслъдователей работъ Достоевскаго, докторъ Чижъ, говоритъ что это описаніе эпилептической ауры — войдетъ въ учебники психіатріи.
Это много, конечно, но въ этомъ описаніи есть и нѣчто неизмъримо большее: въ немъ, если можно такъ выразиться, какъ-бы мъримо большее: въ немъ, если можно такъ выразиться, какъ-бы отражается литературно-художественная аура творчества самого Достоевскаго. Кому, въ самомъ дълъ, не придетъ на мысль сблизить и сопоставить этотъ «мгновенно воспламеняющійся мозгъ», это «удесятереніе ощущеній и самосознанія», это «разръшеніе всего мрака, всъхъ безпокойствъ мгновеннымъ умиротвореніемъ въ гармонической радости, въ полномъ разумъ и въ окончательной причинъ», это «само-ощущеніе въ высшей степени непосредственное», и, наконецъ, смыслъ этого «неслыханнаго и негаданнаго примиренія и восторженнаго молитвеннаго сліянія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни», при полномъ пониманіи того что «времени больше не будетъ», — съ тъмъ что имъется на лицо въ твореніяхъ Достоевскаго? И этотъ синтезъ, и это примиреніе, и это молитвенное сліяніе—составляютъ, дъйствительно, заключительныя строки крупнъйшихъ изъ его твореній и на нихъ теплится въчный, кроткій, неугасающій свътъ какъ-бы отъ того непостижимаго бытія когда «времени больше не будетъ».

Чрезвычайно важныя критико-психіатрическія изслъдованія работъ Достоевскаго докторомъ В. Чижомъ, о которыхъ придется вспомнить впослъдствіи еще разъ, заключаютъ въ себъ, между прочимъ, очень наглядный списокъ душевно-больныхъ, разныхъ типовъ, выведенныхъ въ сочиненіяхъ Достоевскаго. Количество ихъ слъдующее: въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» — шесть, въ «Преступленіи и наказаніи» и «Бъсахъ» — по четыре, въ «Идіо-

тѣ», «Подросткѣ» и «Хозяйкѣ»—по три, въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ»—два и, наконецъ, почти во всѣхъ. по одному. В. Чижъ считаетъ что почти $^{1}/_{4}$ дѣйствующихъ у Достоевскаго лицъ — душевно-больные. Совершенно соглашаясь съ В. Чижомъ въ принципѣ, нельзя, однако, не заподозрить точности этой $^{1}/_{4}$ части; причисленіе къ психически-больнымъ Раскольникова и Алеши Карамазова, во всякомъ случаѣ нѣкоторая натяжка и, по крайней мѣрѣ, подлежитъ оспориванію или значительной оговоркѣ.

Не легко жилось покойному подъ въчнымъ гнетомъ, въ постоянномъ ожиданіи припадковъ неизлечимой бользни; не легко было ему отъ въчной нужды и горя жизпи, отъ каторги и отъ пребыванія заграницей, отъ издателей и цънителей. Не легко было ему, но намъ-то приходится признать, не только суровую благодатность для таланта Достоевского этихъ испытаній, но и пользоваться ихъ безценными, исключительно сочными плодами.

Еще не успъла во всъхъ своихъ отголоскахъ любви и ненависти, по всей Россіи, замолкнуть пушкинская ръчь; еще не пересохли типографскія чернила послѣдняго нумера «Дневника Писателя», какъ автора ихъ обоихъ— не стало. Онъ умеръ 28 января 1881 года, отъ разрыва сердца. Смерть и похороны Өедора Михайловича далеко не лишены дъйствительнаго, какъ-бы легендарнаго, величія.

Въ тяжкія минуты жизни покойный ималь обыкновеніе раскрывать на удачу то именно Евангеліе, хранящееся въ его семьъ какъ святыня, которое подарили ему, по пути въ каторгу, жены декабристовъ; и которое, во всю четырехлътнюю ночь каторги, постоянно лежало у него подъ подушкою, и, раскрывъ его, читалъ открывавшуюся главу. На этотъ разъ, смертельно больной, онъ поручилъ это сдълать женв и обозначилось мъсто: Матвъя глава III, ст. 15.—«Іоаннъ же удерживаль его... но Іисусъ сказаль ему въ отвъть: не удерживай, ибо такъ надлежить намъ исполнить всякую правду.»

— Ты слышишь, сказалъ умирающій жент, не удерживай! значитъ я умру!

Въ первый день бользии Федоръ Михайловичъ исповъдался и причастился, на третій вечеромъ въ 8 час. 40 мин.его не стало. И тогда то, на четвертый день послъ смерти, увидълъ Петербургъ, а за нимъ и вся родная земля, нъчто небывалое. Маленькая квартира покойнаго, на углу Ямской и Кузнечнаго пе реулка, въ которой жилъ онъ когда-то, еще юношей, о чемъ,

въ силу какой то непонятной случайности, опъ позабылъ, такъ визненно, такъ безъ оглядки, такъ сердечно глядълъ онъ только впередъ, —маленькая квартира эта сдълалась, на краткій срокъ, психическимъ центромъ Россіи. Кто, совершенно ясно, кто только чаяніемъ, кто съ молитвою, кто съ злорадствомъ, всъ сознавали что тутъ, съ разрывомъ одинокаго, маленькаго сердца, сразу порвалась большая многомилостивая, еще не все сотворившая сила. Какая то пустота, сразу сказавшаяся въ общественномъ сознаніи, въ общественномъ сердцѣ, потянула, словно по возникшему отъ этого сквозняку, въ узкія улички несмѣтную толпу народа. Совершенно также безъ приготовленія какъ сказана была Достоевскимъ пушкинская рѣчь, состоялись, безъ приготовленія, торжественнѣйшія похороны частнаго человѣка, когда либо видѣнныя не только въ Россіи, по, по внутреннему нхъ значенію, и во всемъ свѣтъ. Пышнѣе, конечно, хоронила Америка Вашингтона, не совсѣмъ частнаго человѣка; риторичнѣе высился, подъ тріумфальною аркою звѣзды, пышный катафалкъ Виктора Гюго—но внутреннихъ слезъ покаянія, но мыслей обращенныхъ въ себя, съ несомиѣннымъ характеромъ молчаливой, очпстительной исповѣди, не было — въ такомъ количествѣ и правдѣ—нигдѣ и никогда. Сотни траурныхъ съ лентами вѣнковъ и депутацій, неумолчные многочисленные хоры, пѣвшіе духовныя пѣсни, тысячи народа, потянулись медленно текущею рѣкою по Ваадимірской улицѣ и Невскому къ Александро-Невской лаврѣ. Всѣ эти, многочисленные, неизвѣстно откуда приходившіе ко гробу покойнаго, ночью и днемъ, таинственные читальщики и чатальщицы псалтыри, какъ на дому, такъ и въ соборѣ; всѣ эти люди толпы въ небогатыхъ одѣяніяхъ, сопровождавшіе гробъ, вся эта, такъ называемая, интеллигенція, шествовавшая вмѣстѣ съ ними и, наконецъ, оказавшаяся ко времени похороить несомиѣнною увѣренность въ томъ что и Царь, тоже плоть и кровь своего народа, почтиль осиротѣвшую семью, тога еще очень нуждавшуюся, матеріальною помощью, — все это виѣстѣ ваятось полоть в каплѣ воды того солнечнаго блеска мирнаго и полнато роднаго единенія, которое всегда м мирнаго и полнаго роднаго единенія, которое всегда мечталось почившему и становилось ему, иногда, такъ ясно, ясно «въ гармоняческой радости, въ полномъ разумѣ, въ окончательной причинѣ, въ молитвенномъ сліяніи съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни которому суждено наступить тогда— когда времени больше не будетъ...»

Тому чувству сиротства и пустоты, которыя мгновенно сказались въ русскихъ людяхъ со смертью Достоевскаго и обусловили возникновеніе его легендарныхъ, внущительныхъ похоронъ, имъется очень хорошая обрисовка въ письмъ графа Л. Толстаго къ Н. Страхову, на предметъ этой смерти. «Какъ-бы я желалъ», пишетъ онъ, «умъть сказать все, что я чувствую, о Достоевскомъ... Я никогда не вчдалъ этого человъка и никогда не имълъ прямыхъ отношеній съ нимъ; и вдругъ когда онъ умеръ, я понялъ что онъ былъ самый близкій, дорогой, нужный мнъ человъкъ... Все что онъ дълалъ было такое, что чъмъ больше онъ сдълаетъ, тъмъ мнъ лучше... И вдругъ читаю — умеръ. Опора какая-то отскочила отъ меня.»

Вотъ эти-то послъднія слова — «опора какая-то отскочила отъ меня» — передаютъ, съ художественностью и образностью присущими только графу Толстому, то состояніе духа, которое охватило Петербургъ а, по телеграфу, и всю Россію на слъдовавшій по смерти Достоевскаго день. Очень, очень много свободнаго мъста осталось по выбытіи его изъ числа живыхъ, и это чувствовалось потому что: «покойный безспорно унесъ съ собою въ гробъ нъкоторую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ.»

Если только болье или менье далекому будущему изсльдователю подъ силу будетъ возсоздать сложное жизнеописаніе Достоевскаго, то, еще труднье, представится работа тому человьку, который задастся мыслью изучить его произведенія. Въ настоящее время въ критикь нашей видятся только крайности, только обрывки, только отдъльные взгляды людей совершенно противуположныхъ лагерей, при чемъ, по очень мъткому и поэтическому замъчанію В. Буренина: «злоба журнальныхъ пигмеевъ царанаетъ гробъ крупнаго литературнаго таланта и неменье крупнаго человъка»... «Не подобаетъ имъ», продолжаетъ онъ, «недостойнымъ развязать ремень его сапога, выставлять его подвиги антипатичными, возбуждающими сожальніе»... «Это, господа, стыдно, это даже больше чъмъ стыдно—это неблагородно». Для того что-бы не возвращаться вторично къ критикамъ этого рода, слъдуетъ здъсь-же, до бъглой характеристики таланта покойнаго, указать главнъйшихъ недоброжелателей этого таланта и его значенія.

Бълинскій точно предчувствоваль что въ Достевскомъ выростетъ современемъ и оперится врагъ который его, Бълинскаго,

одольеть. Горячо привътствовавь юношу на первыхъ шагахъего литературной жизни, сказавъ (1846 годъ) что въ немъталантъ «огромный», «блестящій яркою самостоятельностью», что «таково неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встръчать и въ талантахъогромнаго размъра», онъ, немедленно, измънилъ къ нему свое отношеніе. Уже въ «Хозяйкъ», (1848 годъ), разсказъ Достоевскаго показался ему «чудовищнымъ» и онъ не видълъ въ немъ «ни одного живаго, простаго слова», и все въ немъ показалось ему «изыскано, натянуто, на ходуляхъ, и фальшиво».

Добролюбовъ, разбирая «Униженныхъ и оскорбленныхъ», (1861 годъ), относился хотя и мягче, но, тъмъ не менъе, признаваль Достоевскаго стоящимъ «ниже эстетической критики», находилъ «бъдность и неопредъленность образовъ», «необходимость повторять себя» и «неумънье обработать каждый характерь даже на столько, чтобы хоть сообщить ему соотвътствен

ный способъ внёшняго выраженія».

Какой данъ былъ камертонъ Бълинскимъ и Добролюбовымъ, куда потянули лебеди, туда направились и лебедята, ученики и послъдователи ихъ обоихъ.

Чтобы не пестрить именами, приведемъ общія заключенія наиболье характерныхъ трехъ изъ нихъ: М. Антоновича, П. Никитина и Н. Михайловскаго, писавшихъ около 1880 года, т. е. тогда, когда Достоевскій уже вошелъ въ полную силу и исполнилось въщее пророчество о немъ Бълинскаго: «много въ продолженіи его. Достоевскаго, поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тъмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы».

М. Антоновичъ («Мистико-аскетическій романъ»), находя что Достоевскій писатель, «дореформенной эпохи», потому, будто-бы, что критики Добролюбова, не имѣли на него вліянія, считаетъ, какъ «Братьевъ Карамазовыхъ», такъ и пушкинскую рѣчь—«верхомъ ретроградной тенденціозности»; старецъ-монахъ Зосима, по его мнѣнію, есть «псевдонимъ» Достоевскаго, а самый романъ не романъ, а какая-то глава изъ Четьи-Минеи; въ этомъ романъ, утверждаетъ онъ, вся наша интеллигенція обрекается Достоевскимъ на то, чтобы идти въ монастырь; онъ говоритъ, что всъ наши успѣхи въ реформахъ прошлаго царствованія, новый судъ и пр. согласно Достоевскому, только «посмѣшище надъ правдою» и что, будто бы, согласно Достоевскому, одно только и имѣется средство придти къ свободѣ—это пойти въ рабство!

П. Никитинъ (не Ткачевъ-ли?) говоритъ безъ обиняковъ, что исторія Достоевскаго слѣдующая: «въ юности увлекаллея... съ лѣтами созналь свои заблужденія, раскаллея, отрекся отъ прошлаго и строго осуднять свои юношескія мечтанія» и что въ этомъ нельзя, конечно, не признать «великаго акта публичнагосамозаушенія». Если въ «Подросткѣ», по миѣнію П. Никитина, Достоевскій «какъ художникъ, очень и очень не великъ», то «Бѣсы» доказываютъ «отсутствіе въ авторѣ всякой творческой фантазіи, творческое банкротство автора «Бѣдныхъ людей». Далѣе говорится, что внутренній міръ души человѣка доступенъ Достоевскому «только отчасти», и что въ этомъ онъ «мало чѣмъ отличается,—отъ прочихъ романистовъ», что у Достоевскаго иѣтъ «образа живаго человѣка», а имѣется «галлерея помѣшанныхъ», «манекены съ ярлыками характера бреда». П. Никитинъ объясняетъ также, что случай разсказанный въ «Двойникъ» это, яко-бы, случай съ самимъ Достоевскимъ: въ немъ тоже сидятъ два человѣка, язъ которыхъ одинъ «не торгуетъ перомъ», а другой «амикошонствуетъ» съ «Гражданиномъ».

Третій изъ цвнителей Достоевскаго, котораго мы вспомнимъ, это Н. Михайловскій («Жестокій талантъ»). Онъ находитъ, что лица въ «Бѣсахъ» взяты на прокатъ у Стебницкаго и Клюшникова; что, разъигрывая на струнахъ душевной болѣзни нравственно-политическіе «мотивы», Достоевскій даетъ въ «Идіотѣ» даже цѣыю такіе «оркестры»; что, начиная съ «Преступленія и наказанія», Достоевскій становится спеціалистомъ—кладоискателемъ и «находя нскру страданія раздуваетъ ее до цѣлаго костра страданій, а самъ любуется да раскаленныя уголья со священнымъ сладостраетіемъ подмѣшиваетъ»; что у Достоевскато въ его произведеніяхъ цѣлый «завърнецъ» снабженныхъ волчыми клыками и что всѣ фигурирующіе въ романахъ его образы, «придавлены идеями обязательно изобрѣтенными для нихъ авторомъ». Въ другомъ мѣстъ его произведеніяхъ цѣлый «завърнець» снабженныхъ волчыми клыками и что осъ фигурирующіе въ романахъ его образы, «придавлены идеями обязательно изобрѣтенными для нихъ авторомъ». Въ другомъ мѣстъ его произведенно совръ

рёчи», тёмъ не менёе, помимо «жестокости таланта», сказывающейся, яко-бы, во всемъ и вездё, читатель, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» напримёръ, постоянно «чувствуетъ присутствіе злонамёреннаго человёка (Достоевскаго?)», не можетъ не ощущать «чувства брезгливости» и не признать того, что основная, чудовищная идея романа та «что преступная мысль должна бытъ также наказуема какъ и преступное дёяніе»? Чудовищности этой идеи, будто-бы лежащей въ основё умствованій Достоевскаго, критикъ противо поставляетъ свое вёское заключеніе, что «вся политика и публицистика Достоевскаго представляетъ одно сплошное шатаніе и сумбуръ и въ немъ самостоятельная черта—не нужная, безпричинная, безрезультатная жестокость». Въ третьемъ мёстё говорится, что «никакого сколько нибудь опредёленнаго общественнаго идеала у Достоевскаго не было» и что «какъ публицистъ онъ былъ просто путаница, былъ оторванъ отъ живой жизни», что онъ «наименёе народенъ», что ему вообще была «ненавистна идея общественной реформы», что не мёшало, однако, тому что, подъ конецъ жизни, «беллетристическій талантъ его отточился до блеска и остроты ножа».

леннаго общественнаго идеала у Достоевскаго не было» и что «какъ публицистъ онъ былъ просто путаница, былъ оторванъ отъ живой жизни», что онъ «наименве народенъ», что ему вообще была «ненавистна идея общественной реформы», что не мъшало, однако, тому что, подъ конецъ жизни, «беллетристическій талантъ его отточился до блеска и остроты ножа».

Три названныхъ цвнителя— М. Антоновичъ, П. Никитинъ и Н. Михайловскій—были только болве крупными лебедятами критики, тянувшими вследъ за лебедями въ торжественной процессіи «развънчиванія», вытравливанія Достоевскаго нашими псевдо-либералами. Имъ вследъ шуршила и егозила, на всв лады и по всвмъ изданіямъ, мелкая пташка, большею частью безъименные цвнители. Для обращика этихъ отзывовъ можно привести одинъ, помъщенный въ 1873 году въ несуществующемъ нынъ «Сіяніи». Въ немъ сказано, чернымъ на бъломъ что: «больно видъть паденіе писатедя» въ которомъ сказываются «плачевные результаты реневъ немъ сказано, чернымъ на обломъ что: «оольно видъть падене писателя» въ которомъ сказываются «плачевные результаты ренегатства»; что о «Бѣсахъ», собственно говоря, не стоитъ даже и толковать, а слѣдуетъ ограничиться простымъ «библіографическимъ отзывомъ», какіе дѣлаются, такъ, вѣроятно, думалъ неизвѣстный, но смѣдый критикъ, о поваренныхъ книгахъ и календаряхъ? Онъ же заключаетъ, что къ Достоевскому можно относиться только «равнодушно» или «съ презрѣніемъ, или сожалѣніемъ», такъ какъ онъ, авторъ «Бѣсовъ», «взводитъ клеветы на все живое».

Та пвна у рта, то, такъ сказать, высовываніе языка, которые сказались при сужденіяхъ о Достоевскомъ въ псевдо-либеральныхъ критикахъ, ясно свидътельствуютъ, не въ переносномъ, а въ совершенно физическомъ, или, дучше, механическомъ смы-

слѣ, на сколько были они «придавлены» Достоевскимъ, вырос-шимъ, къ концу семидесятыхъ годовъ, во всю ширь и мощь своего первостепеннаго таланта.

Приведенных обращиковъ недоброжелательной, тенденціозной и несправедливой, до полнъйшей нельпости, критики — достаточно. Въ противность имъ Достоевскій вызвалъ цълый рядъдругихъ, совершенно инаго характера.

Какъ бы переходомъ могутъ служить нъсколько цънителей, болъе неопредъленныхъ, робкихъ, какъ-бы недостаточно инте-

ресовавшихся Достоевскимъ, или, правильнъе, болъе политичныхъ, которые, какъ «ни то, ни се» въ убъжденіяхъ, какъ пасмурная погода въ природъ, опредъленнаго мъста, относительно смурная погода въ природъ, опредъленнаго мъста, относительно Достоевскаго, не занимаютъ, яснаго взгляда на него не имѣютъ, и, не проявляя существованія въ себъ скелета, являются какими-то мягкотѣлыми. Таковы: П. Анненковъ («Воспоминанія и критическіе очерки»), К. Арсеньевъ («Многострадальный писатель»), Н. Буличъ («Достоевскій и его сочиненія»), Д. Писаревъ («Сочиненія»), Е. Марковъ («Критическія бесѣды» въ «Русской рѣчи»), З-нъ (статьи въ «Библіотекъ для чтенія») и немногіе

другіе.

Окружая Достоевскаго плотнымъ кольцомъ — бронею, какъ великую славу народнаго духа, одинъ другаго поддерживая и дополняя въ защитъ его свътлой памяти и въ разъяснени глудополняя въ защитъ его свътлой памяти и въ разъяснении глубочайшаго значенія, расположились длинною вереницею его защитники. Вотъ, не совсъмъ полный, перечень ихъ: Н. Страховъ
(«Біографія, письма» и пр. и критическія статьи), О. Миллеръ
(«Матеріалы для жизнеописанія Достоевскаго», «Публичныя лекціи» и критическія статьи), В. Буренинъ («Критическіе очерки»),
Вл. Соловьевъ («Три ръчи въ память Достоевскаго»), В. Чижъ
(«Достоевскій, какъ психопатологъ»), А. Суворинъ (Очерки и
и статьи), А. Милюковъ («Отголоски на литературныя и общественныя явленія» и критическія статьи), Н. Звъревъ («Ръчь
въ январъ 1882 г. въ Обществъ любителей Россійской словесности и статьи въ «Руси»), А. Оболенскій («Оцънка идей Достоевскаго», статьи въ «Мысли») С. Андреевскій («Братья Карамазовы,» чтеніе въ Литературномъ обществъ, 1888 года),
Н. Ахшарумовъ (статьи во «Всемірномъ трудъ») и многіе другіе.
Списокъ этотъ былъ бы совершенно не полонъ, еслибы не помъстить въ немъ имени друга и сотрудника Достоевскаго, покойнаго какъ и онъ, лучшаго критика нашего Аполлона Григорьева и не вспомнить, къ слову, иностранцевъ: Георга Бран-

деса, Франциска Сарсэ и Мельхіора Вогюэ; если бы последніе писали у насъ и были русскими, ихъ въскія мивнія легли-бы вполив вершительно на чашку въсовъ и безъ того уже давно безпрекословно склонившуюся въ пользу Достоевскомъ что онъ быль не только «крупный лигературный талантъ,» гробъ которато даранаютъ лигературные пигмеи, но и «не менёе крупный человъкъ», совершавшій «подвиги». Еще раньше сказано было что Достоевскій названть «настоящимъ героемъ литературнаго поприща». Никакого «подвига» въ обыкновенной писательской дъятельности, собственно говоря, нѣтъ, и если въ ней приходится замѣтить особенности «подвига», то, значитъ, эта дѣятельность, выходитъ за обыкновеные предълы писательска И дѣйствительно: дѣло въ томъ что, не только литератора-писателя вѣнчала на пушкинскомъ праздникѣ толпа, не только литератора торжественно хоронила въ Петербургѣ «улица», со всею ингеллигенцією за одно, а въ томъ, что тутъ, при отрезвлявшемся къ восьмидесятымъ годамъ взглядѣ общества, Достоевскій какъ литераторъ, не смотря на вею силу его таланта, какъ бы ушелъ вдаль, уступнвъ мѣсто другому типу, типу «человъка — дѣятеля», типу которому, пожалуй, и до сетодня не имѣется родоваго названія такъ онъ новъ, исключительно народенъ и многозначущъ. Въ Россіи, и только въ Россіи, съ ея совершенно особеньыми условіями жизни, могъ подняться во всю свою вышину «человъкъ — дѣятель Достоевскій». Только Россія и одна только Россія, на столько счастлива, что имѣетъ право надѣяться прінскать со кременемъ, роловен названіе для подобныхъ Достоевского: «Журналъ дѣло великое!» Онтъ, большой романистъ, не сказалъ однако: «романъ великое!» Онтъ, большой романистъ, не сказаль однако: «романа для постояннаго, быстраго, не стѣснямаго особенно сильно условіями эстепчаческими. Обмѣна мыслей между авторами и читаг

другихъ на дальнія разстоянія, почти на всю жизнь покой-наго.

Докторъ Ризенкамифъ говоритъ что Достоевскій, въ самые ранніе годы, уже «любилъ поэзію страстно, но писалъ прозою потому, что на обработку формы не хватало у него терпѣнія... мысли въ его головѣ родились подобно брызгамъ въ водоворотѣ... природная, прекрасная декламація его выходила изъ границъ артистическаго самообладанія». Н. Страховъ, тоже давно и хорошо знавшій Достоевскаго другъ его, объясняя, уже по смерти Достоевскаго, собственное заявленіе покойнаго о поспѣшности и недодѣланности многихъ его произведеній, говоритъ, что хотя Достоевскому и жалко было этихъ «недовершенныхъ созданій», но главное для него заключалось всегда въ томъ, чтобы «подѣйствовать на читателей, заявить свою мысль» и, съ одной стороны, добывая средства для жизни, съ другой «постоянно подавать голосъ и не давать публикѣ покоя своими мыслями».

Вотъ этотъ то «не дохватъ» времени для обработки формы, эта необходимость скоръе и во всемъ, высказаться, эта «недовершенность созданій» и выходъ художника изъ границъ «артистическаго самообладанія», отличавшіе Достоевскаго во всю жизнь, находятъ въскія подтвержденія и въ нъсколькихъ другихъ, весьма замъчательныхъ отзывахъ.

П. Анненковъ, въ своихъ «Воспоминанияхъ» сообщаетъ о томъ, что Бълинскій привътствовалъ въ «Бъдныхъ людяхъ», первое появленіе у насъ «соціальнаго романа»; разбирая «Униженныхъ и оскорбленныхъ» Добролюбовъ, въ 1861 году, въ своей послъдней статъъ, призналъ этотъ романъ «ниже эстетической критики», сказалъ, что онъ не больше какъ «журнальная работа», въ которой автору не до обработки, не до строгости къ себъ въ развити мысли, а съ него «довольно того, что хоть кое-какъ успъетъ бросить эту мысль на бумагу». «Фельетоннымъ» назвалъ этотъ романъ и А. Григорьевъ и, наконецъ, самъ Достоевскій, въ 1864 году, сознался въ справедливости этого отзыва и прибавилъ, что «такъ я писалъ и всю мою жизнь, такъ написалъ все, что издано мною, кромъ повъсти, «Бъдные люди» и нъкоторыхъ главъ изъ «Мертваго дома».

Ясно что, отъ раннихъ дией юности, покойному прежде всего хотълось «скоръе высказываться». Желаніе высказываться можетъ, конечно, быть присуще и всякому бездарному говоруну

но тогда оно, какъ и самъ говорунъ, остаются при своемъ ничтожествъ. Но если это желаніе, при постоянномъ, усиленномъ накипаніи мыслей и неустанной работъ зоркой наблюдательности, да еще въ такой смутный періодъ какъ шестидесятые и семидесятые годы, гдъ всъ основы шатались, всъ отношенія спутывались, имъетъ мъсто въ такомъ первоклассномъ діалектическомъ умъ какимъ, совершенно исключительно, былъ умъ Достоевскаго, при участіи такого художественнаго таланта и такого сердца какими отличался Достоевскій, то это желаніе становилось такъ сказать верпинтельними законовскатальними во новилось, такъ сказать, вершительнымъ, законодательнымъ во всей его судьбъ.

Всем его судьов.

Весьма назидательно видёть какъ, за все время писательской дѣятельности Достоевскаго, почти за цѣлыхъ сорокъ лѣтъ, кругозоръ подлежавшій его наблюденію и вызывавшій потребность быстро «высказываться», постоянно, то и дѣло, расширялся и смерть застигла автора именно въ ту минуту когда кругозоръ этотъ, въ силу синтеза долгой жизни, упорныхъ наблюденій и неустаннаго бодрствованія, сталъ особенно широкъ, а оратора стали, наконецъ, слушать. Трудно пріискать, даже у насъ, гдѣ литература насчитываетъ столько безвременныхъ смертей, смерть болѣе безвременную, болѣе обидную; но — фактъ совершился и надо брать его такимъ каковъ онъ есть его такимъ каковъ онъ есть

его такимъ каковъ онъ есть

Собственно говоря въ Достоевскомъ два человъка переплевшіеся одинъ съ другимъ тъсно, неразрывно, органически. Прежде всего онъ — отмъченный божественнымъ перстомъ художникъ слова, имъющій въ избыткъ всъ необходимыя для этого разнообразныя способности, перечисленіе которыхъ было-бы общимъ мъстомъ; во вторыхъ онъ — то что называлось въ былое время трибуномъ или въчевымъ человъкомъ, немногіе изъ видовъ дъятельности котораго, въ силу царящаго вездъ раздъленія труда, имъются на лицо и въ настоящее время и воплощаются въ совершенно различныя, но очень близкія одна ко другой, особи: проповъдника, оратора, публициста. Этотъ второй человъкъ, въ концъ концовъ, въ силу служенія беззавътно любимой Россіи, поборолъ въ Достоевскомъ перваго человъка и именно этою стороною своей дъятельности исключительно великъ и еще недостаточно понятъ Достоевскій. Тоже вліяніе которое оказалъ на испанское средневъковое рыцарство Сервантесъ своимъ «Донъ-Кихотомъ», произвелъ Достоевскій на русское псевдо-западничество и quasi-либерализмъ. чество и quasi-либерализмъ. Разобрать въ отдъльности объдъятельности его—и можно, и

нельзя, но, во всякомъ случав, къ задачамъ этого очерка не относится и относиться не можетъ. Уже и теперь о покойномъ существуетъ цвлая литература друзей и враговъ, о нъсколькихъ отзывахъ которыхъ мы уже вспоминали, но она будетъ рости и окончаніе, завершеніе этого роста едва ли предвидится. Вообще-же, по времени, хронологически, въ двятельности Достоевскаго сказываются два рвзко отдвляющихся отдвла. Одинъ идетъ отъ «Бвдныхъ людей» начиная до 1867 года, до второй женитьбы, или, правильнъе, до появленія въ 1866 году «Преступленія и наказанія»; второй періодъ, послъдніе пятнадцать лътъ жизни, это полный разцвътъ творчества и окончательное уясненіе Достоевскимъ себя себъ и другимъ, синтезъ любопытнъйшаго бытія, синтезъ выразившійся, наконецъ, въ пушкинской ръчи и «Дневникъ писателя».

«Дневникѣ писателя».

Въ первомъ періодѣ видятся геніальные розмахи пера. «Я сталъ», говоритъ Достоевскій въ «Дневникѣ» 1877 г., «писателемъ вдругъ, до тѣхъ поръ еще ничего не писавши»; въ этомъ періодѣ наростаніе матеріала чувствъ и мыслей, обильно приносимаго жизнію, наблюденія, отмѣтки, неустойчивость въ томъ что именно и какъ нужно дѣлать. Тутъ цѣлая удаляющаяся видимость самыхъ разнообразныхъ вещей, открывающаяся превосходною тріумфальною аркою «Бѣдныхъ людей», заставившихъ Некрасова и Григоровича прибѣжать къ Достоевскому ночью и вызвавшихъ возгласъ Бѣлинскаго обращенный къ юношѣ вызвавшихъ возгласъ Бѣлинскаго обращенный къ юношѣ—автору: «да вы понимаете-ли сами, что вы это написали»? Здѣсь, въ этомъ періодѣ, одно уже перечисленіе заглавій, если только заглавія находятся въ органической связи съ самими произведеніями, свидѣтельствуетъ о нѣкоторомъ качаніи Достоевскаго: «Двойникъ», «Слабое сердце», «Честный воръ». «Чужая жена и мужъ подъ кроватью» «Бѣлыя ночи», «Скверный анекдотъ», «Дядюшкинъ сонъ. Изъ мордасовскихъ лѣтописей» и многія другія. Тутъ, въ этихъ работахъ, какъ въ прелюдіи оперы, если уже и слышатся основные, сочные мотивы будущихъ могучихъ гармоній, но есть и много наноснаго, много дани еремени, подражанія Гоголю и нѣкоторая доля того чѣмъ отличалась тоглашняя «муза мести и печали», хотя и безъ рани времени, подражания гоголю и нъкоторая доля того чъмъ отличалась тогдашняя «муза мести и печали», хотя и безъ оскоминной гражданской скорби, только что вступавшей въ тъ дни въ силу. До этой скорби не опускался Достоевскій никогда. Въ этомъ періодъ жизни Достоевскаго, полномъ, благодаря обстоятельствамъ и личной небрежности его, самой тяжкой нужды, когда надъ нимъ висъла темная ночь четырехлътней

каторги («четыре года я быль», пишеть онъ въ 1854 году, «похоронень живой и зарыть въ гробу»), когда тянулись пять лѣть жизни въ Семипалатинскѣ, а затѣмъ тяжелое время въ Москвѣ, когда ему, болѣзненному, не на что было купить пальто и калоши, а счастья семейной жизни первая жена ему не давала; когда надъ нимъ тяготѣла вторая ссылка—четырехлѣтнее пребываніе заграницею и необходимость «доставать 2 талера», когда его возмущалъ полицейскій надзоръ, а кабала излера», когда его возмущаль полицейскій надзоръ, а кабала издателей чувствовалось ежеминутно и дѣлала изъ него литературную «почтовую клячу», «литературнаго пролетарія», когда, наконець, не однократны были, въ особенности въ началь, мысли о самоубійствь, —Достоевскій, только въ силу крайней энергіи духа, на перекоръ бользни, остается на своемъ посту и работаеть, работаеть, иногда, чудовищно много. Только временно, въ конць этого періода, чувствуеть онъ приливъ струи свъжаго воздуха, сознаеть, такъ сказать впервые, ставъ руководителемъ «Времени», а потомъ «Эпохи», всю ширину своихъ крыльевъ, всю силу своей мощи, весь доступный его широкому взгляду кругозоръ русской жизни.

Второй періолъ начало котораго почти совпато со вторымя

вею силу своей мощи, весь доступный его широкому взгляду кругозоръ русской жизни.

Второй періодъ, начало котораго почти совпало со вторымъ бракомъ и значительно большею хозяйственностью въ жизни, это періодъ дѣятельности въ Достоевскомъ преимущественно втораго человѣка — трибуна, оратора, проповѣдника, публициста. Открывается этотъ второй періодъ колоссальнѣйшимъ и безсмертнѣйшимъ произведеніемъ его, стоящимъ совершеннымъ особнякомъ въ своемъ скромномъ величіи — «Преступленіемъ и наказаніемъ» (1866 г.), въ которомъ, въ полномъ единеніи, и, если можно такъ выразиться, въ дружномъ благодушествѣ и равновѣсіи, сплелись воедино оба человѣка — великій художникъ и зычный вѣчевой человѣкъ. Далѣе въ быстро слѣдовавшихъ одна за другою замѣчательныхъ работахъ — въ «Пдіотѣ» (1868 г.) «Бѣсахъ» (1871 г.), »Подросткѣ» (1875 г.). «Братьяхъ Карамазовыхъ» (1879 г.), и, наконецъ, въ «Дневникѣ писателя» второй человѣкъ окончательно побѣждаетъ перваго и посвящаетъ себя всецѣло изслѣдованію общественныхъ явленій нашей печальной жизни семидесятыхъ годовъ, съ тою глубиною безпощадной діалектики, съ тѣмъ предвидѣніемъ имѣвшихъ совершиться событій, которыя, не только въ нашей литературѣ, но и во всѣхъ другихъ, ищутъ себѣ подобныхъ.

Оглядывая въ совокупности всю сорока-лѣтнюю дѣятельность покойнаго необходимо намѣтить относительно его таланта, какъ

это было сдёлано относительно жизнеописанія, только нёкоторыя основныя черты, тё именно которыя единственны, исключительны и составляють его, и нашу гордость.

тельны и составляють его, и нашу гордость.

Совершенно вёрно зам'вчаеть Вл. Соловьевь, что предметь романовъ Достоевскаго не «быть» общества, а общественное «движевие»; по м'вткому выраженію Н. Звёрева, проводящему параллель между Тургеневымъ и Достоевскимъ, первый угадываль повороты и нам'вчаль дальн'вшее движеніе жизни кудамы идемъ, а Достоевскій, одаренный даромъ прозр'вніл, изображаль то чтыть мы кончимъ; не мен'ве характерно заявленіе Н. Страхова что покойный не написаль и 1/10 доли твух романовъ, которые задумалъ, такъ быстро, такъ воспрінмчиво, такъ органически — заодно, жилось «чувствовавшей мысли» Достоевскаго съ тёмъ что происходило тогда въ обществе. И какъ зорко, какъ пророчески смотр'яль онть на это обществе! И какъ зорко, какъ пророчески смотр'яль онть на это обществе! И какъ зорко, какъ пророчески смотр'яль онть на это обществе! И какъ зорко, какъ пророчески смотр'яль онтолько за два дня до появленія въ «Русскомъ В'встникъ» описанія преступленія совершоннаго Раскольниковымъ въ «Преступленіи и наказаніи», московскія газеты сообщили объ убійств'я студентомъ Данпловымъ ростовщика, съ какпим то «особыми планами», и что описаніе это близко предшествовало покушенію Каракозова; сл'ядуетъ наномнить что «Идіотъ», а всл'ядъ за нимъ «Б'всы», появились передъ разоблаченіями нечаевскаго процесса, точно будто самъ Достоевскій принималь въ д'язгальности нечаевцевъ ближайшее участіе, точно будто, въ художественномъ ясновидѣніи своемъ, сжился онъ съ поступательнымъ движеніемъ тогдашней судорожной жизни органически; онъ, Достоевскій, зам'ячаетъ Вл. Соловьевъ, предугадываль повороты этого движенія и заран'яе судиль ихъ, на что имѣлъ т'ямь большее право, «что самъ первоначально испыталь т'я уклоненія, самъ стоялъ на той не в'врной дорог'я». И это предвидѣнь Проторомъ вогоромъ многое, изъ того что стало для этого ума давно промедимъю, потому что, какъ передуманное и приведсниюе къ итогамъ отбрасывалось—виднѣлось для другихъ, многихъ и очень многихъ умовъ, только съ будущемъ и далеко еще не наступило. Н. Страховъ гов

Н. Страховъ говоритъ совершенно правильно что Достоевскій въ дъятельности своей шелъ порывами, отдъльными подъемами, и что этихъ подъемовъ имъется четыре: «Бъдные люди»,

«Мертвый домъ», «Преступленіе и наказаніе» и «Дневникъ писателя», и что направляющая его дѣятельности, общая у него съ нашими первоклассными писателями—Ф. Визиномъ, Карамзинымъ, Грибоѣдовымъ, Пушкинымъ и Гоголемъ та, что, увлекаясь вначалѣ чужимъ, всѣ они обязательно повернулись къ своему, родному. Не менѣе замѣчательно, а для тѣхъ кто расположенъ дѣлать правильныя заключенія— не опровержимо по своимъ выводамъ то, что Гоголь въ «Перепискѣ съ друзьями» и «Исповѣди», пришелъ къ тѣмъ именно общимъ заключеніямъ, на которыхъ кончилъ. Постоевскій торыхъ кончилъ Достоевскій.

Выше сказано было что значенію бользни покойнаго въ характерѣ его творчества, придаютъ, вообще, меньшее значеніе чѣмъ бы слѣдовало. Сказано было также что именно этой болѣзни

рактерѣ его творчества, придаютъ, вообще, меньшее значеніе чѣмъ бы слѣдовало. Сказано было также что именно этой болѣзни его слѣдуетъ приписатъ то лунатическое освъщеніе, тѣ рѣзкіе и дерзкіе раккурси, тѣ не пропорціональныя освъщенія и криволинейность фигуръ и типовъ которые, то и дѣло, поражаютъ члателя. Было гдѣ-то замѣчено, что люди нормальные для Достоевскаго «неудобны»; что эксцентрическія идеи тѣснятся въ его фантазіи болѣе чѣмъ «художественные образы»; что «иныя вещи Достоевскаго даютъ столько наслажденія (почти всегда мучительнаго) сколько и какого ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не найдешь»; сказано было также, что никто такъ далеко не заходилъ въ изображеніи всякихъ «паденій души человѣческой» какъ онъ; что главные его герои — «больныя натуры съѣденныя идеею», и что значительная часть публики «бонтся его романовъ». Все это, во многихъ отношеніяхъ, правда. Въ длинной вереницѣ скорбныхъ, страдальческихъ образовъ, созданныхъ Достоевскимъ, которые, если-бы ихъ изобразить въ рисункѣ (и что-же, въ самомъ дѣлѣ, дѣлаютъ наши живописцы?), дали-бы нѣчто болѣе новое, болѣе потрясающее чѣмъ знаменитые «пляски смерти» средневѣковой Европы, Достоевскій стоитъ дѣйствительно совершеннымъ особнякомъ. Его смѣлыя обрисовки, его лунатическій колоритъ, чрезвычайно близки къ свѣто-тѣни Рембрандта, Рибейры, Караваджіо и Доминикино, огромное количество работъ которыхъ имѣетъ своимъ предметомъ, какъ и писанія Достоевскаго, всякихъ одержимыхъ, эпилептиковъ, бѣснующихся и т. п. Несомнѣню, что во всѣхъ этихъ придавленныхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ, озлобленныхъ, защемленныхъ, въ этихъ душевно-больныхъ всѣхъ наменованій, которыми кишмя кишитъ творчество Достоевскаго, имѣется на лицо какое-то, если можно такъ выразиться, насиль-

ственное суммированіе зла и печали! но, во-первыхъ, надо вспомнить въ какое страшное, близкое по типу ко времени макабрскихъ плясокъ и самобичующихся среднихъ вѣковъ время, писалъ Достоевскій; во вторыхъ, можно-ли не признать вершительнаго вліянія на покойнаго его болѣзни? въ-третьихъ, кѣмъ и когда признано за возможное упрекать писателя въ томъ, что онъ избралъ для себя ту или другую особенность творчества, упрекать, такъ сказать за тѣ физическія и душевныя черты, которыя дала ему природа? Вопросъ не въ томъ чтò, а какъ изобразилъ писатель то чтò задумалъ изобразить?

Только ставъ на эту, единственно прочную почву, правильна будетъ оцѣнка покойнаго, и тутъ, дѣйствительно, замѣчаются такія великія очертанія его таланта, которыя могутъ и должны составить славу нашей литературы.

Душевно-больные, какъ сказано, настоящая сфера До-

составить славу нашей литературы.

Душевно-больные, какъ сказано, настоящая сфера Достоевскаго. Они, какъ замѣчаетъ докторъ В. Чижъ (значительно преувеличивая), составляютъ '/4 часть его типовъ и доказываетъ, на основаніи наблюденій такихъ спеціалистовъ какъ Pinel, Esquirol, Guislain, Griesinger, Lambroso и Kraft-Ebing, — доказываетъ съ очевидностью поразительною, что покойный былъ великимъ, геніальнымъ психопатологомъ, что онъ, художественнымъ прозрѣніемъ, опередилъ даже точную науку и многое изъ него перейдетъ, несомнѣнно, въ учебники психіатріи. Къ числу такихъ замѣчательностей В. Чижъ относитъ почти совершенно правильно и мастерски объясненныя и развитыя: эпилептическую ауру (Мышкинъ), старческое слабоуміе (старикъ Сокальскій и князъ К.), нравственное помѣшательство (Раскольниковъ (?) и Свидригайловъ, Смердяковъ и Иванъ Карамазовъ), противоположеніе страсти и аффекта (во многихъ лицахъ, напримѣръ, въ Дмитріъ Карамазовъ), галлюцинаціи (Иванъ Карамазовъ — цѣлая глава), противуположенія аффекта и на-Карамазовъ — цълая глава), противуположенія аффекта и настроенія (Сокальскій, Алеша Растонніковъ), истерію, извращеніе прихотей, навязчивыя идеи (Лиза Хохлакова), связь религіозности и половыхъ влеченій, наслъдственность, значеніе пьянства и т. д. Въ высшей степени характерно что В. Чижъ, пьянства и т. д. въ высшен степени характерно что в. чижъ, выставляя въ полный рельефъ безсмертныя заслуги художника для науки, словно для усиленія этого напоминаетъ о томъ, что Гоголь, въ «Запискахъ съумасшедшаго», ясно доказалъссвое незнаніе эмбріологіи и развитія этой бользни и что даже Шекспиръ, заставляя Леди Макбетъ погибнуть отъ угрызеній совъсти, сдълалъ крупнъйшую ошибку, такъ какъ подобныхъ фак товъ наука психіатріи— не знаетъ. Изслѣдованія психическихъ болѣзней, по Шекспиру, вызвали, какъ извѣстно, цѣлую литературу; стоитъ вспомнить объ Stark'ъ и Elze, для того, чтобы оцѣнить значеніе этихъ изслѣдованій и ожидать подобныхъ-же о Достоевскомъ.

Въ другой, совершенно другой отрасли знанія и сердцевъдънія, въ юридической наукъ, согласно очень въскому показанію А. Кони, Достоевскій имъетъ тоже удивительное значеніе. Въръчи своей, сказанной 2 февраля 1880 г. въ юридическомъ обществъ, послъ смерти Достоевскаго, А. Кони указалъ на то, что покойный, давъ въ своихъ работахъ правильный анализъ преступленія въ его внутреннемъ содержаніи, далъ также анализъ типовъ невивняемости, останавливался на многихъ процессуальныхъ вопросахъ—о доказательствахъ, о душевно-больныхъ, о мърахъ пресъчения способовъ уклоняться отъ суда, о задачахъ слъдователя и т. п. и изобразилъ многое, какъ въ преступникъ, такъ и въ судъ и наказаніяхъ судомъ налагаемыхъ, такъ правильно, что показанія эти должны быть приняты къ св'єдінію вильно, что показанія эти должны оыть приняты къ свъдънію наукою юриспруденціи. А. Кони вспомниль также о томъ, что подавляющій реализмъ подробностей въ «Преступленіи и наказаніи», получиль «характеръ какого-то грустнаго и чуткаго предсказанія» въ громкихъ процессахъ Данилова и Лансберга; что «тонкое изображеніе рядомъ двухъ видовъ убійства — предумышленнаго и умышленнаго, — столь близкихъ по формъ, столь различныхъ по внутренней структуръ, по происхожденію», что это ихъ «разграниченіе» — «явилось подъ перомъ Достоевскаго за *пять* лѣтъ до того, какъ оно нашло себѣ, наконецъ, законное выраженіе въ вышедшемъ на время изъ своей летаргіи нашемъ Уложеніи о Наказаніяхъ». Достоевскій, заключаетъ А. Кони, «указывая гдв правда и какъ находить ее, постоянно повторялъ: милость! милость!» В. Чижъ замвчаетъ, что, по вопросу о значении одиночнаго заключения, Достоевский тоже опередилъ науку и указалъ на недостатки постановки экспертизы, недостатки, вызывающе у насъ такія частыя и нежелательныя попущенія. О значеніи Шекспира для юриспруденціи писали: Ihering, Kohler; въроятно изслъдованіе Достоевскаго, съ этой точки

зрвнія, продолжится и у насъ.

Говоря о значеніи Достоевскаго для юриспруденціи, любопытно было-бы знать какъ помирить отзывъ А. Кони съ твмъ,
что выразилъ Н. Михайловскій, будто покойный требовалъ наказанія, не только преступнаго двянія, но и преступной мысли,

и увѣреніе М. Антоновича, что Достоевскій проповѣдывалъ рабство?! По вопросу о психіатріи, оглядывая, на сколько это возможно, корифеевъ всѣхъ другихъ литературъ, мы находимъ, что эту завидную судьбу прозуѣнія въ науку художествомъ, огносительно душевныхъ болѣзней и уголовной практики, раздѣляетъ Достоевскій только съ Шекспиромъ. Уже совершенно одиновимъ, совершенно исключительнымъ, является онъ въ анализѣ душевныхъ является онъ въ анализѣ душевныхъ являетій, анализѣ направившемъ его къ тому синтезу, къ которому онъ, въ концѣ концовъ, пришелъ. Характерно, что еще въ 1845 году, въ одножь изъ своихъ писемъ, на первыхъ шагахъ въ литературѣ, покойный писалъ: «во миѣ находять оригинальную струю, состоящую въ томъ, что я дъйствую анализомъ, а не синтезомъ. Гоголь-же беретъ прямо цѣлое и отъ того не такъ глубокъ какъ я». Дѣйствительно, съ увѣренностью острѣйшаго скальпа анатома, идетъ мысль Достоевскаго по извивамъ чужой человѣческой души и мысли, какъ только этотъ скальпъ пущенъ имъ въ ходъ для производства vivisectiй, въ томъ или другомъ направленіи. Нисколько не мѣняется сущность этой особенности мышлаенія Достоевскато отъ того, что она имѣла особые, излюбленные пути, такъ сказать свои способы и свою технику, погому что никто такъ далеко какъ онъ не заходилъ въ изображеніи всякихъ паденій души человѣческой и что полнымъ хозлиномъ являлся онъ вменно въ изслѣдованіи явленій не нормальныхъ. Духовный міръ человѣческой души, въ особенности въ его болѣзненныхъ отклоненіяхъ, это—настоящаю тихія Достоевскаго, въ которой онъ двигася ст обыстротою и точностью движенія удивительными. Распластыва, скальпируя, обнажая какое-либо бугорчатое явленіе до очевидности, онъ подсовываетъ его, такъ сказать, подъ какой-то чудовищно-сильный микроскопъ, сильный до того, что смогрѣніе въ него видимая простымь глазомъ, чуть замѣтная, черточка, ми прелочка, разсматриваемаго объекта, вовее не черточка—а цѣлый микроскопъ, сильный до того, что смогрѣніе въ него видимая простымь глазомъ, чуть замѣтная, черточка, ми прелочка, разсматрива на откло

вильнёе, пробудила въ немъ вёру въ человёка. Поклонившись ей Раскольниковъ сказалъ: «я не тебё поклонился, а всему страданію человёческому поклонился», и вотъ, съ преступникомъ Раскольниковымъ за одно кланяется Сонё въ ноги и читатель, который, несомнённо и во многомъ, тоже преступникъ, тоже, такъ или иначе, вызывалъ страданія человъческія. Объ этомъ невидимомъ поклоненіи безчисленныхъ читателей, объ этой сильнъйшій побъдъ, когда либо одержанной художникомъ, Достоевскій, при описаніи поклоненія Раскольникова, благоразумно и дюбезно умалчиваетъ, но за то во всю мощь своего богатырскаго голоса говоритъ онъ объ этомъ поклонении, въ другой

и люоезно умалчиваеть, но за то во всю мощь своего обгатырскаго голоса говорить онъ объ этомъ поклоненіи, въ другой формѣ конечно, въ пушкинской рѣчи, когда восклицаетъ: «смирись гордый человѣкъ, потрудись праздный человѣкъ!»

О необычайной силѣ анализа Достоевскаго говорено много, а будетъ говорено гораздо больше; онъ такъ поразительно великъ и остръ, что равнаго ему, у всѣхъ писателей міра, не пріискать; близокъ къ нему только анализъ графа Л. Толстаго. Эта необычайная сила, чтобы развиться, должна была имѣть, помимо своей причинности въ условіяхъ физіологическихъ, еще и большую практику. Въ этомъ отношеніи достойны большаго вниманія слова Н. Страхова относительно того, что въ поѣздку за границу, въ 1862 году, «Достоевскаго не занимали особенно ни природа, ни историческіе памятники, ни произведенія искусства, за исключеніемъ развѣ самыхъ великихъ», что, во Флоренціи, напримѣръ, онъ «не добрался даже до Венеры Медицейской», потому что «все вниманіе его было устремлено на людей, и онъ схватываль только ихъ природу и характеръ... Его интересовали люди, исключительно люди, съ ихъ душевнымъ складомъ, съ образомъ ихъ жизни, ихъ чувствъ и мыслей». И это продолжалось во всю жизнь Достоевскаго, изъ которыхъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ лицомъ къ лицу съ нашей бѣсовщиной и крамолой. Практика очень внушительная и очень большая. О ней, о его наблюдательности, помнятъ и всѣ тѣ, кто встрѣчался съ о его наблюдательности, помнять и всё тё, кто встрёчался съ о его наолюдательности, помнять и всв тв, кто встрвчался съ Достоевскимъ, кто помнить его довольно угрюмый, но мягкій, задумчивый, кроткій взглядъ, его обычную, созердающую молчаливость, только изрёдка прерываемую такими неожиданностями, такими вспышками, какъ та, что имѣла мѣсто на знаменитомъ либеральномъ обѣдѣ, данномъ Тургеневу въ 1879 году.

Несомнѣнно, что природа души человѣческой, въ особенности въ адскомъ величіи явленій ненормальныхъ, въ тѣхъ сокровеннѣйшихъ ледникахъ и кратерахъ ея, до которыхъ добирался

только одинъ Достоевскій, безконечно разнообразнѣе природы внѣшней, которая, все таки, такъ или иначе, можетъ быть раздѣлена на слои, царства, разряды и подведена подъ рубрики. Не удивительно по этому, что, чувствуя въ себѣ силы на большее, покойный какъ-бы уклонился отъ того что, сравнительно, мельче и легче, и что описательная часть въ работахъ его очень слаба; въ этомъ отношеніи онъ далеко уступаетъ Тургеневу, графу Л. Толстому и, даже, нѣкоторымъ другимъ. Достоевскій, собственно говоря, даже не любилъ деревни и картинъ природы, подобно тому какъ любилъ ихъ Тургеневъ, или товарищъ покойнаго по училищу Д. Григоровичъ, начавшій съ «Антона Горемыки» и «Деревни», Только въ городахъ, въ душныхъ центрахъ дѣйствительности, въ непосредственномъ соприкосновеніи цинизма, ханжества, роскоши, безумія, разврата и бѣдвеній цинизма, ханжества, роскоши, безумія, разврата и бъдности, складываются и взростають особенно ярко всё тё отклоненія души человёческой, въ изслёдованіи которыхъ Достоевскій вполнё хозяинъ; онъ самъ тоже живетъ въ этой атмосферѣ міазмовъ, и только чуткость его таланта позволяетъ ему замѣчать окружающіе его міазмы, не поддаваясь имъ. А что міазмать этимъ можно поддаться, и поэтому не замѣчать ихъ, лучшими доказательствами могутъ служить нѣкоторыя мнѣнія его тими доказательствами могуть служить нькоторыя мныня его критиковъ. Чему-же какъ не тупости обонянія, какъ не зараженію окружающими міазмами приписать, напримѣръ, то, что разбирая «Бѣсовъ» и всѣхъ этихъ юношей (Верховенскій, Ставрогинъ, Кирилловъ, Шигалевъ), замышляющихъ крамолу и убійство, созерцая въ нихъ живые портреты, сколки съ тии уогиство, созерцая въ нихъ живые портреты, сколки съ типовъ людей многократно фигурировавшихъ въ политическихъ
процессахъ и на эшафотъ, типовъ, узнаваемыхъ въ романъ
Достоевскаго до поразительности впечатлънія правды — одинъ
изъ цънителей спрашиваетъ: «съ кого писалъ эти портреты
Достоевскій, гдъ слышалъ эти разговоры» и утверждаетъ, что
покойный не имълъ права выдавать ихъ за «типы современной
(къ счастью только тъмъ днямъ) молодежи»?

Выше было упомянуто, что, отъ дътства начиная, до самыхъ послъднихъ дней, Достоевскій страстно любилъ поэзію, что ему, при въчномъ накипаніи новыхъ мыслей, медленная обработка формы стиха была не по плечу, что по этому обратился онъ къ прозъ, къ роману и повъсти, а затъмъ, въ силу той-же необходимости говорить скоръе—къ публицистикъ. Но это ни сколько не мъщаетъ ему быть и оставаться поэтомъ. Нътъ сомитьнія въ томъ, что изъ произведеній покойнаго можно-бы бы-

ло выбрать огромное количество превосходнѣйшихъ поэтическихъ мыслей, образовъ, думъ, настроеній, чувствъ и страсти, вполнѣ пригодныхъ для цѣлаго цикла своеобразнѣйшихъ стихотвореній; эти мѣста, такъ сказать, почти готовыя стихотвореній въ прозѣ, вставленныя отдѣльными яркими, цвѣтными камешками на широкихъ плоскостяхъ мозаикъ, его длинныхъ, часто слишкомъ длинныхъ, работъ; въ этихъ стихотвореніяхъ встрѣтилось-бы, конечно, много повтореній, разъигрываній на туже тему, что очень естественно и вполнѣ соотвѣтствуетъ основамъ таланта покойнаго, но это нисколько не помѣшало-бы ихъ безотносительному достоинству. А какъ много сценъ и сценокъ для живописи имѣется въ пестрой, поучительной жизни покойнаго? надо было видѣть его, окруженнаго дѣтьми, говоритъ А. Кони, «какъ видѣлъ его я въ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ и въ камерахъ Литовскаго замка, — слышать его безъискусственный разговоръ, безъ чуждо-звучащаго для дѣтей «вы», и ихъ просьбы «поговорить еще» или «пріѣхать опять», чтобы понять, какая сила внутренняго сродства съ душою «малыхъ сихъ» жила въ его многолюбящей душѣ». И дѣйствительно Достоевскій горячо любилъ дѣтей, видя въ нихъ возможность лучшаго будущаго и отвелъ имъ, въ своихъ произведеніяхъ, очень видпое мѣсто, на что и обращено было вниманіе О. Миллеромъ и разъяснено въ особой статьѣ: «Дѣти въ сочиненіяхъ Ф. М. Достоевскаго». стоевскаго».

Тоевскаго».

Несомнѣнно, что кромѣ дѣтей, въ безсчетныхъ ликахъ людей одержимыхъ психической гангреной, въ вереницахъ всякихъ оскорбленныхъ, ожесточенныхъ, дерзающихъ и придавленныхъ, фигуръ страдальчески - грустныхъ и безумнодерзкихъ, фигуръ шествующихъ одна во слѣдъ другой, какъ было очень хорошо сказано Звѣревымъ, по тремъ стадіумамъ жизни души страждущей: отрицанія вѣрующаго («Преступленіе и наказаніе»), отрицанія знающаго («Бѣсы») и отрицанія сомнѣвающагося въ себѣ («Братья Карамазовы»), все-таки особенно четко выдѣляются нѣкоторые излюбленные, чаще другихъ занимающіе Достоевскаго образы. Такъ—женщина взбалмошная, обаятельная, властная до жестокости, имѣется въ Полинѣ («Игрокъ»), Настасьѣ Филиповнѣ («Идіотъ»), Грушенькѣ и Катеринѣ Ивановнѣ («Братья Карамазовы») и Варварѣ Петровнѣ («Бѣсы»); противуположный типъ добраго, любящаго до самозабвенія женскаго сердца—это Нелли и Наташа («Униженные и оскорбленные»), мать Раскольникова и Соня («Преступ-

леніе и Наказаніе»), Хроменькая («Бѣсы») Неточка Незванова, жена Макара Ивановича («Подростокъ»); дерзающіе на все циники—Свидригайловъ («Преступленіе и наказаніе»), Ставрогинъ («Бѣсы»), Лебедевъ («Идіотъ»), Князь («Униженные и оскорбленные») и Карамазовы—отецъ и сынъ Дмитрій; атеисты—Великій Инквизиторъ, Кирилловъ и разные оттѣнки многихъ другихъ; нѣсколько бѣдныхъ чиновниковъ и т. д.; нодробный перечень душевно-больныхъ, составляющихъ главный контигентъ, какъ сказано выше, сдѣланъ докторомъ В. Чижомъ.

М. Антоновичъ назвалъ монастырскаго старца Зосиму, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», «псевдонимомъ» Достоевскаго. Это, отчасти, справедливо, но не въ томъ смыслѣ, какой имѣлся въ виду при этомъ заключеніи. Зосима, дѣйствительно, до того много принялъ въ душу свою откровеній, сокрушеній, сознаній, что подъ конецъ пріобрѣлъ прозорливость и могъ угадывать; нѣчто подобное имѣлось и въ Шекспирѣ. Въ послѣдніе годы жизни покойный, какъ извѣстно, былъ заваленъ письма-

дывать; нѣчто подобное имѣлось и въ Шекспирѣ. Въ послѣдніе годы жизни покойный, какъ извѣстно, былъ заваленъ письмами отъ всякихъ нуждающихся и обремененныхъ и могъ, конечно, будучи великимъ серцевѣдомъ, утѣшать, наставлять и давать хорошіе совѣты. И на это имѣлъ онъ неоспоримое право, потому что, въ дополненіе того что перечувствовалъ онъ и переиспыталъ въ своей дѣйствительной жизни, сколько терзаній долженъ былъ онъ вынести въ душѣ своей, при замыслѣ и воспроизведеніи тѣхъ типовъ которые выведены имъ въ такихъ темныхъ безотрадныхъ краскахъ и въ такомъ огромномъ количествѣ? А если принять въ расчетъ вѣчную, мучительную болѣзнь Достоевскаго, его съ юности слабое здоровье, то становится понятною справедливость сказаннаго о немъ В. Буренинымъ, что нѣтъ: «въ нашей литературѣ другаго характера болѣе мощнаго и крѣпкаго», и что Достоевскій былъ у насъ— «великою нравственною силою».

Если вышеприведенныя отличительныя черты таланта покойнаго помѣчены, какъ и его жизнь, многими рѣзкими особенностями, ему одному принадлежащими и дѣлающими его, отошедшую въ былое, фигуру такою поразительно своеобразною, то не менѣе исключительнымъ, самостоятельнымъ является, какъ было уже сказано, въ самомъ концѣ его дѣятельности «Дневникъ писателя». Послѣдній нумеръ «Дневника» распродавался на улицѣ, въ то время когда похоронная процессія съ тѣдомъ автора направлялась къ мѣсту его послѣдняго успокоенія. «Дневникъ» начался изданіемъ въ 1876 году и имѣлъ тольгоды жизни покойный, какъ извъстно, былъ заваленъ письма-

ко одного сотрудника — самаго Достоевскаго. Ко времени появленія перваго нумера покойный стоялъ передъ лицомъ русской земли въ полной силѣ своего таланта, съ твердою и ясною увѣренностью въ мысли и сердцѣ, пріобрѣтенными долгими годами думанія, чувствованія и труда, признанный всѣми, знавшій о чемъ и какъ говорить и богатый слушателями въ Великой, Малой и другихъ Россіяхъ. Еще не успѣвъ напечатать въ 1875 году «Подростка» и приступивъ къ обдумыванію и писанію своего самаго объемистаго романа «Братья Карамазовы», Достоевскій, вѣрный себѣ, не могъ довольствоваться этимъ медленнымъ трудомъ, этою кабинетною работою. Завершался смутный тяжкій искусственный свистомъ и крамолою вызванный леннымъ трудомъ, этою кабинетною работою. Завершался смутный, тяжкій, искусственный, свистомъ и крамолою вызванный къ жизни, періодъ развитія нашей интеллигенціи. На верху, въ высшихъ сферахъ, сидѣли люди по душѣ не русскіе; въ литературѣ видныя роли играли инстинкты правовыхъ и псевдолиберальныхъ порядковъ, замыслы федеративности; въ молодежи, болѣе другихъ зараженной гангреною нигилизма, еще наэрѣвали самые кровавые, послѣдніе дѣятели. Тѣмъ не менѣе, хотя еще не совершилось 1 Марта, но ослабленіе крамолы все-таки чувствовалось и можно было подводить итоги, дѣлать изъ нихъ заключенія. Покойный, за все истекавшее тогда скорбное время, былъ наиболѣе виднымъ, наиболѣе откровеннымъ бойцомъ противъ всѣхъ этихъ золъ, и самостоятельная рѣчь его, воплощавшаяся въ «Дневникѣ», не могла быть не слышна и не замѣчена. не замъчена.

И могъ-ли, въ самомъ дѣлѣ, Достоевскій, въ силу того что еще въ юности, еще только въ чаяніи того, что ему придется «много дѣлать», онъ уже считалъ необходимымъ «постоянно подавать свой голосъ съ цѣлью подѣйствовать на читателя»; если, въ болѣе зрѣлое время, ему дѣйствительно удалось, и очень вѣско, подавать свой голосъ при редактированіи «Времени» и «Эпохи»; если онъ убѣдился на опытѣ что «журналъ—великое дѣло!» могъ-ли онъ въ эти смутные дни, при вѣчномъ накипаніи мыслей, при возможности перейти отъ анализа къ синтезу, при неясномъ, можетъ быть, чаяніи близкой смерти своей, ограничиться тихою поступью шествія въ печать романа? Конечно нѣтъ, потому что все таки—не все скажешь и не такъ скажешь, какъ бы хотѣлось. Хотя, по свидѣтельству А. Суворина, Достоевскій «еще передъ самою смертью думалъ обратить одинъ изъ эпизодовъ «Братьевъ Карамазовыхъ» въ драму, думалъ продолжать романъ, героемъ котораго былъ бы Адеша

Карамазовъ, какъ типъ русскаго соціалиста», т. е. все таки не покидалъ романа, но тѣмъ на менѣе «Дневникъ», въ послѣдніе голы жизни, былъ для покойнаго главнымъ, любимымъ, сердечно нравившимся предметомъ. Въ него полагалъ онъ всю свою душу и «Дневникъ» сдѣлалъ свое. Къ слову сказать, «Дневникъ» названъ былъ, не неудачно, «комментаріемъ» къ предшествовавшимъ ему «Бѣсамъ». Въ 1881 году онъ печатался уже въ 8000 экземпляровъ и это при томъ условіи, что пестрый и неискренній Петербургъ не любилъ и не могъ любить «Дневника».

Въ «Дневникъ», помимо того что это типичнъйшая автобіографія типичнъйшаго человъка, дъйствовавшаго въ очень любопытное время, имъются взгляды Достоевскаго на многіе изъкрупнъйшихъ вопросовъ русской жизни. Если-бы жизнь автора длилась дольше, то отвъты имълись-бы на большее число ихъ, и такъ какъ, по совершенно справедливому замъчанію Н. Страхова, Достоевскій всегда и во всемъ «прежде всего былъ всетаки художникомъ, мыслилъ образами и руководился чувствами», то и на холодныхъ и скучныхъ, повидимому, путяхъ чистой публицистики даетъ онъ вещи удивительныя. Прямота и ясность мысли одна изъ отличительнъйшихъ чертъ «Дневника» и этому, опять таки, есть своя причина, потому что къ Достоевскому можно примънить вполнъ слова, сказанныя имъ самимъ когда-то объ А. Григорьевъ: онъ не раздваивался и не могъ, какъ герои нашего времени, «одной своей половиной тосковать, а другой своей половиной только наблюдать тоску первой половины», вотъ почему вышелъ его «Дневникъ» созданіемъ цъльнымъ, суммирующимъ, настоящимъ знаменемъ сторожеваго полка.

полка.

А. Суворинъ, описавшій послѣднее свое посѣщеніе Достоевскаго, сообщаетъ о разговорѣ имѣвшемъ при этомъ мѣсто, о томъ, что покойный намѣревался выступить въ «Дневникѣ» съ финансовою статьей, что онъ дѣйствительно и сдѣлалъ; онъ сообщаетъ, что Достоевскій «въ особенности распространялся въ этомъ разговорѣ о своемъ любимомъ предметѣ— о земскомъ соборѣ, объ отношеніяхъ Царя къ народу, какъ отца къ дѣтямъ»... «У насъ», говорилъ онъ, «возможна полная свобода, какой нигдѣ нътъ и все это безъ всякихъ революцій, ограниченій, договоровъ, полная свобода совѣсти, печати, сходокъ»; далѣе вспоминается о томъ, что Достоевскій называлъ «конституцію»—«господчиною», характеръ которой изобразилъ, какъ-бы на проща-

ніе, въ последнемъ нумере «Дневника» одною характерною строчкою какого-то стихотворенія:

«А народъ опять скуемъ»....

«Кто вчитывался въ сочиненія Достоевскаго», замічаеть А. Суворинъ, «кто понималъ его типы, надъ которыми точно проклятіе какое, тяготъла мрачная судьба, какая-то сърная, удушающая, коверкающая, почти до безумія доводящая атмосфера, кто понималъ, что надъ всъми этими несчастными звучитъ сострадательное, теплое, призывающее къ миру и любви слово писателя, психолога и мыслителя, тотъ убъждался въ томъ, что не деревянными фразами, бездушными и ординарными, не звонкой строкой передовой статьи изображаль онъ эту атмосферу, а страницами полными огня, чувства, глубокаго проникновенія въ сердцѣ человъка, словами проповъди».

Имъется слъдующій разсказъ И. Аксакова: у него сидълъ однажды Достоевскій и велъ разговоръ объ Императоръ Николав I, о которомъ онъ отзывался съ величайшимъ уваженіемъ; вошель Меккензи Уоллесь, извъстный путешественникъ; хозяинъ познакомилъ ихъ, и Достоевскій продолжалъ характеристику Николая І. Когда Өедоръ Михайловичъ ушелъ, Уоллесъ спросилъ Аксакова: не авторъ-ли это «Мертваго Дома»?

— IIa.

— Не можетъ быть! Въдь онъ былъ сосланъ въ каторгу?
— Былъ, ну, что-же?
— Да какъ-же онъ можетъ хвалить человъка, сославшаго его на каторгу?

— Вамъ, иностранцамъ, это трудно понять, отвъчалъ Акса-ковъ, — а намъ это понятно, какъ черта вполнъ національная. Другой случай. Въ послъднемъ ноябръ или декабръ, который назначено было Достоевскому пережить, онъ находился какъ-то на балу въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Молодежь, такъ много отрезвившаяся къ тому времени, именно благодаря ему, молодежь, которую онъ всегда такъ искренно любилъ, принимала его съ любовью и съ трепетомъ сердечнымъ и окружала густымъ кольцомъ. «Мы стали говорить», объясняетъ самъ Достоевскій, «затъяли споръ. Они просили, чтобы я говорилъ имъ о Христъ. Я имъ сталъ говорить и они внимательно слушали».

Проповедь о Христе на балу, нисколько не вспугиваемая музыкою и танцами, которымъ она, въ свою очередь, не мъщаетъ!

Похвала власти сославшей въ каторгу! Да гдѣ-же это можетъ имъть мьсто кромѣ Россіи, этого «милаго больнаго», изъ которато въ свой срокъ, какъ говорилъ покойный, «выйдутъ всѣ язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, вся эта мерзость заимоисшался на посерхности, накопившіяся въ немъ за вѣка, за вѣка... выйдутъ и больной исцѣлится и «сядетъ у ногъ Іисусовыхъ».

Многаго не досказалъ Достоевскій, но многое сказалъ онъ, сказалъ окончательно, сказалъ хорошо. Что-бы ни говорили, но русскій народъ, въ неисповѣдимыхъ судьбахъ Провидѣнія, въ ряду другихъ народовъ, выляется несомнѣнно совершеннымъ особиякомъ. Въ этомъ не хвастоство, а только поводъ къ самоизученію. Съ особенною яркостью выдѣляются въ нашемъ народѣ три основимя, существенныя, исключительно ему тримадележащія чертны. Еще въ 1861 году, въ объявленіи объ изданіи «Времен», Достоевскій говорилъ что «можетъ быть русская идел будетъ синтезомъ всѣхъ тѣхъ идей, которыя развивала Европа, потому что не даромъ-же говоримъ мы на всѣхъ языкахъ, понимаемъ всѣ цивилизаціи, сочувствуемъ интересамъ каждаго европейскаго народа», чего, положительиѣйшимъ образомъ, нѣтъ ни у кого другаго. Другая исключительная черта наша, многократно указываемая Достоевскимъ и упорно проводимая имъ въ словѣ и на дѣлѣ на всѣ лады, это существующее въ народѣ нашемъ сознаніе своей «грѣховности», сознаніе, объясняющее очень хорошо почему мы такъ легко прощаемъ, такъ склонны къ самобичеванію, неумѣемъ возводить своего несовершенства въ законъ, не можемъ признавать такъ называемыхъ «правовыхъ порядковъ» и рады нести крестъ внутренняго очищенія и внѣшняго подвига, даже на перекоръ своему собственному «Въ. Третъя черта это наше православье пикогда и нитфъ, подобно католичеству и лютеранству (чтобы не говорить о другихъ на ступавшее въ качествъ религіи воинствующей. Эти три основныя черты, которыхъ положительне нѣть въ другихъ народахъ, какъ сказано, не добродѣтель, а только особенность, съ которою пельзя не считаться выкинуть, вычеркнуть, непризнать ихъ нельзя, а если признать, то яснѣють, какъ-бы вътумать. Во

проповедь о Христе на балу, безе нарушенія бала, похвала той власти, которая загнала человека ве каторгу, это, несомнённо, чисто русскія, для другихе не вероятныя, возможности. Разве это, ве самоме деле, говоря по правде и совести, не евангельскій путь, а что-же найдется ве подлунной выше Евангелія? Понимали это истинно русскіе люди всегда; более всего уясниле это Достоевскій... Воте почему относился оне тактеревниво ко всему что способно разрушить эти счастливыя особенности русскаго народа. Воте почему се такою нервностью встретиле оне мысль примененія у насте того что называется «парламентскою жизнью» на западе, воте почему ратоваль оне противе всего что подтачивало существеннейшія основы русскаго бытія—православіе и самодержавіе. Ве этоме последнеме смысле для него сливались воедино: крамольные нигилисты, литературные люди «правовыхе порядкове», евреи и польщизна—повинные ве двухе повстаніяхе и ве снабженіи силами крамолы и, наконеце, балтійскіе немцы, недавшіе за сто лете подчиненія ихе Россіи, да и за всю свою более чёме пятисотлетнюю исторію, ни единаго таланта, но множество очень видныхе, всегда гнувшихе ве

да и за всю свою болье чыть пятисотльтнюю исторію, ни единаго таланта, но множество очень видныхъ, всегда гнувшихъ въ сторону привиллегій и сепаратизма и тыть противорычвшихъ единому духу Россіи—администраторовъ. Вычевой человыкъ и православный христіанинъ Достоевскій зналь какъ надо говорить обо всемъ этомъ и говорилъ... до разрыва сердца.

Читатель, вступающій въ «Адъ» Данта, приглашался «оставить всы надежды». Читатель, принимающійся за Достоевскаго, идетъ тоже не на радости, но если онъ будетъ помнить, а ему необходимо помнить это, сколько юношей и женщинъ отклонилъ Достоевскій отъ гангрены нигилизма, въ сколькихъ умахъ поднялъ онъ добрую работу мысли на предметь изученія и любви къ Россіи, какъ ясно и твердо проводить онъ человыка отъ отрицанія впругощаго, черезъ отрицаніе знагощее, къ отрицанію сомнюватощемуся въ себь, т. е. къ тому, что требуется, къ выводу положительному, къ твердой выры въ добро, трудъ и прощеніе,—тотъ, одолывъ сочиненія Достоевскаго, станетъ другимъ, лучшимъ человыкомъ.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о службѣ Достоевскаго, славѣ русской литературы заграницею. На *ипмецкій* и *французскій* языки переведены, и неоднократно, *всп* главнѣйшія и множество мелкихъ вещей его; на *англійскій*—«Преступленіе и наказаніе»,

«Идіотъ», «Записки изъ мертваго дома» (дважды); на италіанскій — «Записки изъ мертваго дома»; на иведскій: — «Преступленіе и наказаніе», «Униженные и оскорбленные», «Записки изъ Мертваго Дома», «Подростокъ»; на финскій — «Кроткая»; на норвежскій — «Преступленіе и наказаніе»; на чешскій — «Записки изъ Мертваго дома» и «Неточка Незванова»; на датскій — «Преступленіе и наказаніе»; на польскій «Преступленіе и наказаніе» (могло бы быть переведено больше?); на сербскій — «Бѣдные люди» и на венгерскій — «Преступленіе и наказаніе», «Подростокъ» и «Бѣдыя ночи».

К. Случевскій.

7 Февраля 1889 года.